







АЛЕКСАНДР БЕК

ВОЛОКОЛАМСКОЕ ШОССЕ



ВОЛОКОЛАМСКОЕ ШОССЕ

КРАСНОЯРСКОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1960

АЛЕКСАНДР АЛЬФРЕДОВИЧ БЕК

Александр Альфредович Бек родился в 1903 году, в семье военного врача в Саратове. Здесь же окончил реальное училище.

В 1919 году добровольцем ушел на фронт. Был рядовым бойцом, затем редактором дивизионной газеты.

С 1922 года, работая на Московском кожевенном заводе, писал заметки и очерки, которые помещал в «Правде» и «Рабочей Москве».

Позднее начал выступать с литературно-критическими статьями, принимал участие в работе главной редакции «Истории заводов», выполнял задания редакции «Люди двух пятилеток».

Во время пребывания на Кузнецкстрое собрал материалы для своей первой повести «Курако» (1934). Его основные произведения, написанные в тридцатых годах, объединены в книге «Доменщики» (1946).

Александр Бек участвовал в Великой Отечественной войне в качестве военного корреспондента. В 1943—1944 годах написал книгу о героях-панфиловцах — «Волоколамское шоссе».

В последние годы опубликовал несколько очерков, а также повестей, среди которых наиболее значительными являются «Тимофей — открытое сердце» и «Новый профиль», рассказывающие о новаторах производства.

В 1955 году вместе с Наталией Лойко Александр Бек на основе тщательного изучения трудовой жизни передовых металлургов написал роман «Молодые люди». В 1956 году писатель опубликовал роман о творческом пути создателя первого мощного советского авиамотора — «Жизнь Бережкова».

Александр Альфредович Бек

ВОЛОКОЛАМСКОЕ ШОССЕ

Редактор И. Гончаров. Оформление художника Е. Винивитина. Технический редактор Е. Гильдебрант. Корректор Л. Алексеева.

Подписано к печати 12 декабря 1959 года. Объем 12, 4 п. л., 12,65 уч.-изд. л., 12,71 п. л. Формат бумаги 84x108/32. Тираж 75 000 экз. Заказ 5697. Цена 5 р. 30 к.

Красноярское книжное издательство, ул. Урицкого, 98.

Типография «Красноярский рабочий», проспект имени Сталина, 55.

«Если человеку выпадет случай наблюдать чрезвычайное, как-то: извержение огнедышащей горы, погубившей цветущие селения, восстание угнетенного народа против всесильного владыки или вторжение в земли родины невиданного и необузданного народа, — все это видевший должен поведать бумаге. А если он не обучен искусству нанизывать концом тростинки слова повести, то ему следует рассказать свои воспоминания опытному писцу, чтобы тот начертал сказанное на прочных листах в назидание внукам и правнукам».

Из романа В. Яна «Чингиз-хан».



ПОВЕСТЬ ПЕРВАЯ



ЧЕЛОВЕК, У КОТОРОГО НЕТ ФАМИЛИИ

1

В этой книге я всего лишь добросовестный и прилежный писец.

Вот ее история.

2

— Нет, — резко сказал Бауржан Момыш-Улы, — я ничего вам не расскажу. Я не терплю тех, кто пишет о войне с чужих рассказов.

— Почему?

Он ответил вопросом:

— Знаете ли вы, что такое любовь?

— Знаю.

— До войны я тоже считал, что знаю. Я любил женщину, я испытал страсть, но это ничего в сравнении с

любовью, которая возникает в бою. На войне, в бою, рождается самая сильная любовь и самая сильная ненависть, о которой люди, этого не пережившие, не имеют представления. А понимаете ли вы, что такое внутренняя борьба, что такое совесть?

— Понимаю, — менее уверенно ответил я.

— Нет, вы этого не понимаете. Вы не знаете, как дерутся, борются два чувства: страх и совесть. Самые свирепые звери не способны так жестоко бороться, как эти два чувства. Вам известна совесть труженика, совесть мужа, но вы не знаете совести солдата. Вы бросали когда-нибудь гранату во вражеский блиндаж?

— Нет...

— Тогда как же вы будете писать о совести? Боец наступает вместе с ротой, в него бьют из пулеметов, рядом падают товарищи, а он ползет и ползет. Проходит час — шестьдесят минут. В минуте шестьдесят секунд, и каждую секунду его могут сто раз убить. А он ползет. Это совесть солдата! А радость? Знаете ли вы, что такое радость?

— Должно быть, и этого не знаю, — сказал я.

— Верно! Вам известна радость любви и, быть может, радость творчества. Жена, вероятно, делилась с вами радостями материнства. Но кто не испытал радости победы над врагом, радости боевого подвига — тот не знает, что такое самая сильная, самая жгучая радость. Как же вы будете писать об этом? Станете выдумывать?

На столе лежал номер журнала, где был напечатан очерк о панфиловцах, о бойцах того самого полка, которым командовал Бауржан Момыш-Улы.

Он резко придвинул журнал к лампе, — все его движения были резкими, даже когда он бросал спичку, закурив, — перелистал, склонился над раскрытой страницей и отбросил.

— Не могу читать! — произнес он. — На войне я прочел книгу, написанную не чернилами, а кровью. После такой книги мне невыносимы сочинения. А что можете написать вы?

Я попытался спорить, но Бауржан Момыш-Улы был непреклонен.

— Нет! — отрезал он. — Мне ненавистна ложь, а вы не напишите правды.

3

Познакомиться нам довелось так.

Я долго искал человека, который мог бы рассказать о битве под Москвой, человека, чье повествование охватило бы замысел и смысл операций и вместе с тем повело бы туда, где проверяется и решается все, — в бой.

Не буду описывать этих поисков. Скажу лишь необходимое.

Изучив материалы, я знал, что, наступая на Москву в октябре и в ноябре 1941 года и пытаясь сомкнуть клещи вокруг нашей столицы, противник одновременно рвался к цели напрямик, нанося главный удар вдоль Волоколамского, а затем Ленинградского шоссе.

В тяжелые дни октября, когда немцы прорвались под Вязьмой и на танках, мотоциклах, грузовиках двигались на Москву, подступы к Волоколамскому шоссе закрыла 316-я стрелковая дивизия, ныне известная как 8-я гвардейская дивизия имени генерал-майора Панфилова. Предприняв второе, ноябрьское, наступление на Москву, противник вбивал клин в том же направлении, где опять-таки дрались панфиловцы. В семидневном сражении под Крюковом, в тридцати километрах от Москвы, панфиловцы вместе с другими частями Красной Армии сдержали напор немцев и отбросили врага.

Я отправился к панфиловцам и, еще не ведая ни имени, ни звания человека, который расскажет историю великой двухмесячной битвы, верил: я встречу его.

И действительно, встретил.

Это был Баурджан Момыш-Улы, в дни битвы под Москвой старший лейтенант, а теперь, два года спустя, гвардии полковник.

4

Знакомясь, он назвал себя. Плохо расслышав, я переспросил.

— Баурджан Момыш-Улы, — раздельно повторил он.

В его тоне я уловил странную нотку, которая в тот момент показалась ноткой раздражения. Должно быть,

он любит, подумалось мне, чтобы его понимали мгновенно.

По привычке корреспондента я вынул записную книжку.

— Простите, как пишется ваша фамилия?

Он ответил:

— У меня нет фамилии.

Я изумился. Он сказал, что в переводе на русский Момыш-Улы означает «сын Момыша».

— Это мое отчество, — продолжал он. — Бауржан — имя. А фамилии нет.

В его лице не было мечтательной мягкости, свойственной, как принято думать, Востоку. Существует множество лиц, которые кажутся вылепленными — иногда любовно, тщательно, иногда, как говорится, тяп да ляп. Лицо Бауржана Момыш-Улы напоминало о резьбе, а не о лепке. Оно казалось вырезанным из бронзы или из мореного дуба каким-то очень острым инструментом, не оставившим ни одной мягко закругленной линии. У меня оно вызвало одно детское воспоминание. На твердых синих переплетах собрания сочинений Майн-Рида или Фенимора Купера было вытеснено в профиль худощавое лицо индейца. Профиль Бауржана был похож, чудилось мне, на тот рельефный оттиск.

По-монгольски смуглое, слегка широкоскулое, часто непроницаемо-спокойное, особенно в минуты гнева, оно было украшено на редкость большими черными глазами. Свои блестящие черные волосы, упрямо не покорные гребенке, Бауржан в шутку называл лошадиными.

Слушая, я приглядывался к нему. Этот казах свободно владел богатством русской речи. Даже в минуты волнения он не коверкал слов и оборотов. Лишь некоторая неторопливость речи казалась иногда нарочитой. Впоследствии я подметил: слова текли быстрей, когда он разговаривал по-казахски.

Взяв папиросу и с резким щелканьем захлопнув портсигар, он упрямо закончил:

—Если вы все-таки когда-нибудь будете обо мне писать, называйте меня по-казахски: Бауржан Момыш-Улы. Пусть будет известно: это казах, это пастух, гонявший баранов по степи; это человек, у которого нет фамилии.

5

В первый же вечер знакомства мне посчастливилось услышать, как Бауржан Момыш-Улы беседовал с прибывшими в полк командирами — новичками войны.

Он говорил о душе солдата. Неторопливо развивая мысль, он рассказывал, кстати, про один из боев у Волоколамского шоссе.

У меня екнуло сердце. Быстро вынув блокнот, я жадно записывал. Еще не веря удаче, я угадывал: вот они, страницы долгожданного повествования. Улучив после беседы минуту, я попросил Бауржана Момыш-Улы рассказать сначала и до конца историю боев у Волоколамского шоссе.

— Нет, — ответил Бауржан Момыш-Улы, — я ничего вам не расскажу.

Читателю известен наш дальнейший разговор.

6

Я не сомневался, что Бауржан Момыш-Улы в этом случае был несправедлив. Я хотел того же, что и он: правды. Однако его оценки людей, особенно тех, кто не испытал доли солдата, нередко бывали излишне колючими. Думается, это отчасти объясняется молодостью Бауржана. В те дни, когда мы встретились, ему исполнилось тридцать лет.

Получив крутой отказ, я перестал настаивать, но немало дней провел бок о бок с Бауржаном.

Он любил и умел рассказывать. Ловя случай, я терпеливо записывал. Он привык ко мне.

От друзей Бауржана я узнал историю его жизни. В школе ему дали два прозвища: Большеглазый и Шан-Тимес. Второе в буквальном переводе означает «недоступный пыли». Так звался легендарный конь, который скакал столь быстро, что даже пыль, поднятая его копытами, не касалась его.

Однажды наступила минута, когда я сказал Бауржану:

— А все-таки я напишу про вас. И где-нибудь обязательно упомяну, что в школе вы были Шан-Тимес.

Он улыбнулся. Улыбка преображала его. Суровое лицо вдруг становилось ребячливым.

— А вы артиллерийская лошадь, — ласково сказал он. — Не обижайтесь, это комплимент. Артиллерийская

лошадь везет медленно, ее трудно повернуть, но, поворачиваясь, она тянет за собой и орудие. Вы повернули меня... Я расскажу все, что вы хотели. Но условимся...

Слегка откинувшись, он выхватил из ножен шашку. В низком сыроватом блиндаже, скупо освещенном маленькой лампой без стекла, блеснуло светлое узорчатое лезвие.

— Условимся, — продолжал он. — Вы обязаны написать правду. Готовую книгу принесете мне. Я прочту первую главу, скажу: «Плохо, наврано! Кладите на стол левую руку». Раз! Левая рука долой! Прочту вторую главу: «Плохо, наврано! Кладите на стол правую руку». Раз! Правая рука долой! Согласны?

— Согласен, — ответил я.

Мы оба шутили, но не улыбались.

Не по-монгольски широкие черные глаза испытующе вглядывались в меня.

— Хорошо, — сказал он. — Кладите бумагу, берите карандаш. Пишите: «Глава первая. Страх».

СТРАХ

1

— Пишите, — сказал Бауржан Момыш-Улы, — «Глава первая. Страх».

Подумав, он проговорил:

— «Не ведая страха, панфиловцы рвались в первый бой...» Как по-вашему: подходящее начало?

— Не знаю, — нерешительно сказал я.

— Так пишут ефрейторы литературы, — жестко сказал он. — В эти дни, что вы живете здесь, я нарочно велел поводить вас по таким местечкам, где иногда лопаются две-три мины, где посвистывают пули. Я хотел, чтобы вы испытали страх. Можете не подтверждать, я и без признаний знаю, что вам пришлось подавлять страх.

Так почему же вы и ваши товарищи по сочинительству воображаете, что воюют какие-то сверхъестественные люди, а не такие же, как вы? Почему вы предполагаете, что солдат лишен человеческих чувств, свойственных вам? Что он, по-вашему, низшая порода? Или, наоборот, некое высшее создание?

Может быть, по-вашему, героизм — дар природы? Или дар каптенармуса, который вместе с шинелями раз-

дает бесстрашие, отмечая в списке: «получено», «получено»?

Я немало уже пробыл на войне, стал командиром полка и имею основание, думается мне, утверждать: это не так!

На что рассчитывали немцы, вторгаясь в нашу огромную страну? Они были уверены, что в восточный поход вместе с ними во главе танковых колонн отправится генерал Страх, перед которым склонится или побежит все живое.

Наш первый бой, проведенный в ночь с пятнадцатого на шестнадцатое октября тысяча девятьсот сорок первого года, был и сражением со страхом. А семь недель спустя, когда мы отбросили немцев от Москвы, за ними побежал и генерал Страх. Они наконец-то узнали, быть может впервые за эту войну, что значит, когда сзади гонится страх.

2

До середины октября, до момента, когда начались сражения на подмосковных рубежах, мы в боях не участвовали. Выехав из Казахстана, мы полтора месяца прожили в болотах Ленинградской области, в тридцати-сорока километрах от фронта, на так называемой второй линии обороны, числясь резервом Главного командования.

Утром шестого октября я получил приказ: поднять батальон по тревоге и выступить к ближайшему железнодоржному разъезду. Там нас уже ждали теплушки и платформы. Погрузившись, мы в ночь тронулись.

Куда? Даже мне, командиру батальона, до поры до времени этого знать не полагалось. Казалось, мы едем не к фронту, а от фронта. Поезд несся к узловой станции Бологое, минуя с ходу промежуточные пункты.

В пути объявили, что в Бологом для нас готов обед. Но кто-то торопил, кто-то подхлестывал наши эшелоны. Обед раздать не успели. Смена паровозов была произведена в две-три минуты. Гудок — и снова в путь!

Все с любопытством ждали, куда повернем от Бологого. Скоро выяснилось: к Москве.

Туда, не снижая скорости на полустанках, мчались с интервалами в полтора-два часа наши эшелоны, триста шестнадцатая стрелковая дивизия.

Зачем, для каких целей нас перебрасывают?

Неизвестно.

Почему мчимся с такой скоростью? Куда, по какой дороге поедем от Москвы? Где остановимся?

Неизвестно, неизвестно.

Необычно быстрое движение вызывало у всех тревожную приподнятость. Думалось: наконец-то настоящее, наконец-то в дело, в бой!

3

Седьмого октября мы выгрузились в лесу близ Волоколамска, в ста двадцати километрах западнее Москвы.

Меня вызвали к командиру полка на станцию.

Запомнились выстроившиеся близ полотна приземистые клепаные башни, выкрашенные маскировочным узором — зелеными и серыми разводами. Это были вместилища нефти и бензина.

Мог ли я знать, что скоро увижу на фоне угрюмого октябрьского неба, как — без грохота, который дошел позднее, без пламени и дыма, которые заволокли горизонт потом, — они, эти железные башни, враз медленно поднимутся и, словно повисев мгновение, рухнут?

Подходя к станционному зданию, — впоследствии от него осталась лишь раскрытая кирпичная коробка с хвостами копоти над пустыми окнами, — я издали заметил длинный состав платформ, сплошь груженных пушками.

Меня кто-то окликнул. У состава я увидел полковника Малинина, командира артиллерийского полка нашей дивизии.

— Полюбуйтесь-ка, отступник, — сказал он. — Хороши?

Он называл меня отступником с того дня, как узнал, что я, артиллерист, командир батареи, по собственному настоянию перешел в пехоту.

Орудия были смазаны по-заводски — толстым слоем потемневшего сверху густого пушечного сала. Дополнительно к нашей дивизионной артиллерии они только что прибыли сюда.

— Ого, — сказал я, — есть и тяжелые!

— Этих бегемотов будем устанавливать, как крепостные...

— Разве мы здесь надолго?

— Зимовать, должно быть, будем.

Я ощутил разочарование. Опять, значит, мы в тылу, опять в резерве.

Я не знал, что далеко впереди, за Вязьмой, немцы рассекли фронт, заслонявший Москву, что Гитлер четыре дня назад объявил по радио миру: «Красная Армия уничтожена, дорога на Москву открыта».

А Москва в это время напряженно создавала новый фронт в ста двадцати—ста пятидесяти километрах от городской черты, на рубежах, которые вошли в историю под названием «дальних подступов к столице». С московских вокзалов без речей и оркестров отправлялись коммунистические батальоны в штатском, получавшие оружие и обмундирование в пути. За день-два до нашего прибытия было переброшено на грузовиках через Волоколамск к Московскому морю пехотное училище имени Верховного Совета; за ним туда отправилось с учебными орудиями Московское Краснознаменное артиллерийское училище. Москва, — я произношу это высокое слово, разумея Ставку, Кремль, Родину, — Москва посылала навстречу врагу свежие силы и вооружение, в том числе и эти пушки.

В штабе полка подтвердили: дивизии приказано принять и оборудовать оборонительные сооружения в районе Волоколамска. Мне указали полосу моего батальона.

4

Вечером мы выступили в ночной марш к реке Рузе, за тридцать километров от Волоколамска.

Житель Южного Казахстана, я привык к поздней зиме, а здесь, в Подмосковье, в начале октября утром уже подмораживало. На рассвете по схваченной морозом дороге, по затвердевшей, вывороченной колесами грязи мы подошли к селу Новлянскому — самому крупному населенному пункту нашего батальонного участка.

Глаз сразу отметил силуэт невысокой колокольни, черневший в мутном небе.

Оставив батальон близ села, в лесу, я с командирами рот отправился на рекогносцировку.

Моему батальону было отмерено семь километров по берегу извилистой Рузы. В бою, по нашим уставам, такой участок велик даже для полка. Это, однако, не тре-

вожило. Я был уверен, что, если противник действительно подойдет когда-нибудь сюда, его встретят на наших семи километрах не батальон, а пять или десять батальонов. С таким расчетом, думалось мне, надо готовить укрепления.

Не ожидайте от меня живописания природы. Я не знаю, красив или нет был расстилавшийся перед нами вид.

По темному зеркалу, как говорится в топографии, неширокой медлительной Рузы распластались большие, будто вырезанные, листья, на которых летом цвели, наверное, белые лилии. Может быть, это красиво, но я для себя засек: дрянная речонка, она мелка и удобна противнику для переправы.

Однако береговые скаты с нашей стороны были сделаны недоступными для танков: поблескивая свежесрезанной глиной, хранящей следы лопат, к воде ниспадал отвесный уступ, называемый на военном языке эскарпом.

За рекой виднелась даль — открытые поля и отдельные массивы, или, как говорят, клины леса. В одном месте, несколько наискосок от села Новлянского, лес на противоположном берегу почти вплотную примыкал к воде. В нем, быть может, было все, чего пожелал бы художник, пишущий русский осенний лес, но мне этот выступ казался отвратительным: тут вероятнее всего мог, укрываясь от нашего огня, сосредоточиться для атаки противник.

К черту эти сосны и ели! Вырубить их! Отодвинуть лес от реки!

Хотя никто из нас, как сказано, не ожидал здесь вскорости боев, но нам была поставлена задача: оборудовать оборонительный рубеж, и следовало выполнить ее с полной добросовестностью, как положено офицерам и солдатам Красной Армии.

5

Первые вестники отступления появились на следующий день: брели жители, где-то оставившие все; среди них встречались бойцы, выбиравшиеся мелкими группами из окружения.

Впервые я встретил их — скитальцев в солдатских шинелях — у батальонной кухни.

Они грелись у костра. Их с любопытством рассматривал командир хозяйственного взвода пожилой лейтенант Пономарев, до войны директор не особенно крупного строительства. Сюда же собрались повара и бойцы, работавшие в тот день на кухне...

Пономарев скомандовал «Смирно!» и подбежал с рапортом.

Я искоса смотрел на сидевших у костра: там кое-кто поднялся, кое-кто лишь пошевелился.

— Что за люди? — спросил я.

От огня шагнул рябоватый маленький красноармеец.

— Из окружения, товарищ старший лейтенант!

В то утро я первый раз услышал это слово.

— Какое окружение? Где?

— Под Вязьмой, товарищ старший лейтенант... Теперь он сюда прет.

— Кто?

— Известно кто... немец...

— Вы его видели?

— Разве его увидишь? Сыпет, как горохом, минами... Или прет по шоссе на танках и стреляет во все стороны.

— Танки видели?

— В кино, товарищ старший лейтенант, на танки можно глядеть вольно... А тут не до погляденья! Все в глазах мешается, света не увидишь, когда он тарахтит и бросает во все стороны.

— Винтовка где?

— Со мною, в целости... Извиняюсь, товарищ старший лейтенант, не чищена...

— Куда же вы?

— В Москву на формирование... Мы ходко шли, многих обогнали. Я, товарищ старший лейтенант, взял их под начало, чтобы вывести... В Москве, говорят, бой будем принимать. Сейчас пойдем... Тут нельзя нам прохлаждаться, скоро он тут будет... Пообедать не дозволите с вашего котла, товарищ старший лейтенант?

Простодушие, с каким маленький рябоватый солдат признавался в бегстве, было особенно страшным. Его слушали жадно.

Я вновь оглядел его «часть». Все давно не брились, давно не умывались, от этого на лица лег одинаковый серый налет. На сапогах и обмотках засыхала у огня невытертая грязь. Все были без знаков различия на шинелях.

— Все рядовые? — спросил я.

Почувствовалась неловкость. Потом один поднялся. Это был парень лет двадцати двух, с растерянными грустными глазами.

— Я лейтенант, командир взвода, — сказал он.

Не знаю, быть может, я не изменился в лице, но внутренне шарахнулся, словно от удара: как, командир взвода, лейтенант, офицер Красной Армии, бежит вместе с красноармейцами с фронта под началом бывалого солдата?

В эту минуту повар поставил перед «окруженцами» кастрюлю с дымящимся супом.

— Кушайте, — сказал он. — Теперь не пропадете, к своим попали... Заправляйтесь!

Я крикнул:

— Встать! Лейтенант Пономарев! Арестовать дезертиров! Отобрать оружие!

— Винтовку не отдам, — сказал рябоватый солдат.

— Молчать! Лейтенант Пономарев, исполняйте приказ.

Еще не договорив, я заметил, что Пономарев смотрит куда-то мимо меня, удивленно поднимая брови.

Я оглянулся. К батальонной кухне устало брели человек десять в шинелях, с винтовками и без винтовок. Некоторые подняли воротники, сунули руки в карманы. Этого у меня не водилось. Было ясно даже издали: эти — не моего батальона.

Они подошли.

— Что за люди? — спросил я.

И услышал:

— Из окружения, товарищ старший лейтенант.

6

В этот день, как обычно, я обходил весь оборонительный район батальона.

Было холодно, ветрено. Редкий колючий снег застревал ледяной крупой в траве, скоплялся белыми маленькими косяками у затвердевших комьев вспаханной земли. Шел обеденный час. Бойцы ели в укрытых местах — в недорытых окопах или за кучами выброшенной глины.

Проходя по линии, отмеченной торчащими лопатами, я услышал:

— Нет, ребята, он оттуда не ударит, где вы ожидаете... Он этого не любит — лезть, где ожидают...

Звякали ложки. В яме за невысокой насыпью обедали.

— А что он любит?

Я узнал по выговору: это спросил казах.

— Обойдет, и все... И узнаешь, что он любит.

И снова казах:

— А тогда что?

Чей это окоп? Кто тут из казахов? Память подсказала: Барамбаев. Да, здесь его пулеметный расчет. Или Галлиулин... Они оба у одного пулемета. Черт возьми, и тут кормят этих пришельцев!

— Тогда не давайся, — произнес новый голос. — А то погибель...

— Лес укроет! В лес он не ходок.

Опять тихо звякали ложки. С моими бойцами обедали те, что вышли из окружения. Раздался еще один незнакомый голос:

— И мешок мой там, и котелок мой там... Мы сидели, кушали, вроде как здесь, и вдруг...

«...и вдруг побежали, подлецы!» — хотел крикнуть я, но меня остановила одна мысль.

Невдалеке я увидел поблескивающий вороненой сталью ствол пулемета, скрытого за аккуратно уложенным дерном. Там дежурил пулеметчик. В магазин была заправлена боевая лента.

— В порядке? — спросил я.

— Только нажать, товарищ комбат.

Я присел и, наведя ствол на зеркало реки, нажал. Пулемет, дрожа, заработал. Вынимая землю для укрытий, мы здесь еще не проводили стрельб; это была первая пальба, разнесшаяся над нашим рубежом.

Кто-то выскочил из ямы.

— Тревога! — крикнул я. — В ружье!

И тотчас, как искаженное эхо, отдалось:

— Немцы!

Голос был странно приглушен, человек не выкрикнул, а скорее выдохнул это, словно немцы были уже рядом.

В следующий момент кто-то побежал. За ним другие. Я не успел заметить, как это случилось. Все произошло мгновенно.

Лес был недалеко, в полутораста-двухстах шагах. Бежали туда.

Я поднялся на кучу глины и встал там, молча глядя вслед бежавшим.

Рядом раздался яростный крик:

— Стой!

И затем — ругань.

Это выкрикнул появившийся откуда-то пулеметчик Блоха. Увидев меня, он кинулся ко мне, к пулемету. Меня пронзила острая, как игла, любовь. Ни одну женщину я не любил так, как бегущего ко мне пулеметчика Блоху.

Смотрю, остановился Галлиулин — огромный казах, упаковщик по профессии, легко взваливавший на широченные плечи станковый пулемет. Он опустил голову и прижал руку к груди, безмолвно прося извинения. А ноги уже несли его ко мне, вслед за Блохой.

Затем обернулся очкастый Мурин, до войны аспирант консерватории, писавший статьи по истории музыки. Но его кто-то подтолкнул, указывая на недалекий лес. И он опять, как заяц, помчался. И опять обернулся. Потом остановился. Вспотевшее лицо на слабой шее поворачивалось то ко мне, то к лесу. Потом он быстро протер пальцами очки и понесся назад, ко мне.

Все они были одним отделением, одним пулеметным расчетом. Теперь не хватало лишь командира отделения, сержанта Барамбаева.

Я нередко радовался, глядя, как ловко он, казах Барамбаев, разбирает и собирает пулемет, как легко он угадывает, точно механик, где и почему не совсем ладно. «Вот и мы, казахи, становимся, как и русские, народом механиков», — иногда думал я, встречая Барамбаева.

А теперь он прошмыгнул, наверное, где-нибудь мимо, не смея на меня взглянуть.

Я молча встречал возвращающихся. Я знал, мои бойцы были честными людьми. Сейчас их терзал стыд... Как оградить их в другой раз от этого мучительного чувства, как спасти их от позора? Разве я уверен, что они и в другой раз не побегут и опять потом не будут понимать, как это с ними могло произойти? Что с ними делать?

Уговаривать? Побеседовать? Накричать? Отправить под арест?

Отвечайте же: что?

СУДИТЕ МЕНЯ!

1.

Я сидел у себя в блиндаже, уставясь в пол, подперев опущенную голову руками, вот так (Бауржан Момыш-Улы показал, как он сидел), и думал, думал.

— Разрешите войти, товарищ комбат?

Я кивнул, не поднимая головы.

Вошел политрук пулеметной роты Джалмухамед Бозжанов.

— Аксакал, — тихо сказал Бозжанов по-казахски.

Аксакал в буквальном переводе «седая борода»; так называют у нас старшего в роде, отца. Так иногда звал меня Бозжанов.

Я взглянул на Бозжанова. Доброе круглое лицо его было сейчас расстроенным.

— Аксакал... в роте чрезвычайное происшествие: сержант Барамбаев прострелил себе руку.

— Барамбаев?

— Да...

Показалось, кто-то стиснул мне сердце. Сразу все заболело: грудь, шея, живот. Барамбаев был, как и я, казах — казах с умелыми руками, командир пулеметного расчета, тот самый, которого я не дождался.

— Что ты с ним сделал? Убил?

— Нет... перевязал и...

— И что?

— Арестовал и привел к вам.

— Где он? Давай его сюда!

Так... В моем батальоне появился, значит, первый предатель, первый самострел. И кто же? Эх, Барамбаев!..

Медленно переступая, он вошел. В первый момент я не узнал его. Посеревшее и словно обмякшее лицо казалось застывшим, как маска. Такие лица бывают у душевнобольных. Забинтованную левую руку он держал на весу; сквозь марлю проступила свежая кровь. Правая рука дернулась, но, встретив мой взгляд, Барамбаев не решился отдать честь. Рука боязливо опустилась.

— Говори! — приказал я.

— Это, товарищ комбат, я сам не знаю как... Это нечаянно... Я сам не знаю как.

Он упорно бормотал эту фразу.

— Говори!

Он не услышал от меня ругательств, хотя, должно быть, ждал их. Бывают моменты, когда уже незачем ругаться. Барамбаев сказал, что, побежав в лес, он споткнулся, упал и винтовка выстрелила.

— Вранье! — сказал я. — Вы трус! Изменник! Родина таких уничтожает!

Я посмотрел на часы: было около трех.

— Лейтенант Рахимов!

Рахимов был начальником штаба батальона. Он встал.

— Лейтенант Рахимов! Вызовите сюда красноармейца Блоху. Пусть явится немедленно.

— Есть, товарищ комбат.

— Через час с четвертью, в шестнадцать ноль-ноль, постройте батальон на поляне у этой опушки... Все.

— Идите! — приказал я Рахимову.

— Что вы хотите со мной сделать? Что вы хотите со мной сделать? — торопливо, словно боясь, что не успеет сказать, заговорил Барамбаев.

— Расстреляю перед строем!

Барамбаев упал на колени. Его руки, здоровая и забинтованная, измаранная позорной кровью, потянулись ко мне.

— Товарищ комбат, я скажу правду!.. Товарищ комбат, это я сам... это я нарочно...

— Встань! — сказал я. — Сумей хоть умереть не червяком.

— Простите!

— Встань!

Он поднялся.

— Эх, Барамбаев, Барамбаев! — мягко произнес Бозжанов. — Скажи, ну что ты думал?

Мне на мгновение показалось, что я сам это сказал, будто вырвалось то, чему я приказал: «Молчи!»

— Я не думал... — бормотал Барамбаев. — Ни одной минуты я не думал!.. Я сам не знаю как.

Он опять цеплялся, как за соломинку, за эту фразу.

— Не лги, Барамбаев! — сказал Бозжанов. — Говори комбату правду.

— Это правда, это правда... Потом гляжу на кровь,

опомнился: зачем это я? Черт попутал... Не стреляйте меня! Простите, товарищ комбат!

Может быть, в этот момент он действительно говорил правду. Может быть, именно это с ним и было: затмение рассудка, мгновенная катастрофа подточенной страхом души.

Но ведь так и бегут с поля боя, так и становятся преступниками перед Отечеством, нередко не понимая потом, как это могло случиться.

Я сказал Бозжанову:

— Вместо него Блоха будет командиром отделения. И это отделение, люди, с которыми он жил и от которых бежал, расстреляют его перед строем.

Бозжанов наклонился ко мне и шепотом сказал:

— Аксакал, а имеем ли мы право?

— Да! — ответил я. — Потом буду держать ответ перед кем угодно, но через час исполню то, что сказал. А вы подготовьте донесение.

Запыхавшись, в блиндаж вошел красноармеец Блоха. Пошмыгивая носом, двигая светлыми, чуть намеченными бровями, он не совсем складно доложил, что явился.

— Знаешь, зачем я тебя вызвал? — спросил я.

— Нет, товарищ комбат.

— Посмотри на этого... Узнаешь?

Я указал на Барамбаева.

— Эх, ты!.. — сказал Блоха. В голосе слышались и презрение и жалость. — И морда какой-то поганой стала!

— Расстреляете его вы — ваше отделение...

Блоха побледнел. Вздохнув всей грудью, он выговорил:

— Исполним, товарищ комбат.

— Вас назначаю командиром отделения. Подготовьте людей вместе с политруком Бозжановым.

Подойдя к Барамбаеву, я сорвал с него знаки различия и красноармейскую звезду.

Он стоял с посеревшим, застывшим лицом, уронив руки.

2

В назначенное время, ровно в четыре, я вышел к батальону, выстроенному в виде буквы «П». В середине

открытой, не заслоненной людьми линии стоял в шинели без пояса, лицом к строю Барамбаев.

— Батальон, смирно! — скомандовал Рахимов.

В тиши пронесся и оборвался особенный звук, всегда улавливаемый ухом командира: как одна, двинулись и замерли винтовки.

В омраченной душе сверкнула на мгновение радость. Нет, это не толпа в шинелях, это солдаты, сила, батальон.

— По вашему приказанию батальон выстроен! — четко отрапортовал Рахимов.

В этот час, на этом русском поле, где стоял перед строем человек с позорно забинтованной рукой, без пояса и без звезды, каждое слово — даже привычная формула рапорта — волновало души.

— Командир отделения Блоха! Ко мне с отделением! — приказал я.

В молчании шли они через поле — впереди невысокий Блоха и саженный Галлиулин, за ними Мурин и дежуривший вчера у пулемета Добряков, — шли очень серьезные, в затылок, в ногу, не отворачивая лиц от бьющего сбоку ветра, невольно стараясь быть подтянутыми под взглядом сотен людей.

Но они волновались.

Блоха скомандовал:

— Отделение, стой!

Винтовки единым движением с плеч опустились к ноге; он посмотрел на меня, забыв доложить.

Я сам шагнул к нему, взяв под козырек. Он ответил тем же и не совсем складно выговорил, как требуется по уставу, что явился с отделением.

Вы спросите: к чему это, особенно в такой час? Да, именно в этот час я каждой мелочью стремился подчеркнуть, что мы армия, воинская часть.

Став в одну шеренгу, отделение по команде повернулось к строю.

Я сказал:

— Товарищи бойцы и командиры! Люди, что стоят перед вами, побежали, когда я крикнул: «Тревога!» — и подал команду: «В ружье!» Через минуту, опомнившись, они вернулись. Но один не вернулся — тот, кто был их командиром. Он прострелил себе руку, чтобы ускользнуть с фронта. Этот трус, изменивший Родине, будет

сейчас по моему приказанию расстрелян. Вот он!

Повернувшись к Барамбаеву, я указал на него пальцем. Он смотрел на меня, на одного меня, выискивая надежду.

Я продолжал:

— Он любит жизнь, ему хочется наслаждаться воздухом, землею, небом. И он решил так: умирайте вы, а я буду жить. Так живут паразиты — за чужой счет.

Меня слушали, не шелохнувшись.

Сотни людей, стоявшие передо мной, знали: не все останутся жить, иных выхватит из рядов смерть, но все в эти минуты переступали какую-то черту, и я выражал словами то, что всколыхнулось в душах.

— Да, в бою будут убиты. Но тех, кто погибнет как воин, не забудут на родине. Сыны и дочери с гордостью будут говорить: «Наш отец был героем Отечественной войны!» Это скажут и внуки и правнуки. Но разве мы все погибнем? Нет. Воин идет в бой не умирать, а убить врага. И того, кто, побывав в боях, исполнив воинский долг, вернется домой, того тоже будут называть героем Отечественной войны. Как гордо, как сладко это звучит: герой! Мы, честные бойцы, изведаем сладость славы, а ты, — я опять повернулся к Барамбаеву, — ты будешь валяться здесь, как падаль, без чести и без совести. Твои дети отрекутся от тебя.

— Простите... — тихо выговорил Барамбаев по-казахски.

— Что, вспомнил детей? Они стали детьми предателя. Они будут стыдиться тебя, будут скрывать, кто был их отец. Твоя жена станет вдовой труса, изменника, расстрелянного перед строем. Она с ужасом будет вспоминать тот несчастный день, когда решилась стать твоей женой. Мы напишем о тебе на родину. Пусть там все узнают, что мы сами уничтожили тебя.

— Простите... Пошлите меня в бой...

Барамбаев произнес это не очень внятно, но почувствовалось: его услышали все.

— Нет! — сказал я. — Все мы пойдем в бой! Весь батальон пойдет в бой! Видишь этих бойцов, которых я вызвал из строя? Узнаешь их? Это отделение, которым ты командовал Они побежали вместе с тобой, но вернулись. И у них не отнята честь пойти в бой. Ты жил с

ними, ел из одного котелка, спал рядом, под одной шинелью, как честный солдат. Они пойдут в бой. И Блоха, и Галлиулин, и Добряков, и Мурин — все пойдут в бой, пойдут под пули и снаряды. Но сначала они расстреляют тебя — труса, который удрал от боя!

И я произнес команду:

— Отделение, кру-гом!

Разом побледнев, бойцы повернулись. Я ощутил, что и у меня похолодело лицо.

— Красноармеец Блоха! Снять с изменника шинель!

Блоха сумрачно подошел к Барамбаеву. Я увидел: его, Барамбаева, незабинтованная правая рука поднялась и сама стала отстегивать крючки. Это поразило меня. Нет, у него, который казалось бы, сильнее всех жаждал жить, не было воли к жизни — он безвольно принимал смерть.

Шинель снята. Блоха отбросил ее и вернулся к отделению.

— Изменник, кру-гом!

Последний раз взглянув с мольбой на меня, Барамбаев повернулся затылком.

Я скомандовал:

— По трусу, изменнику Родине, нарушителю присяги... отделение...

Винтовки вскинулись и замерли. Но одна дрожала. Мурин стоял с белыми губами, его прохватывала дрожь.

И мне вдруг стало нестерпимо жалко Барамбаева.

3

От дрожащей в руках Мурина винтовки словно неслось ко мне: «Пощади его, прости!»

И люди, еще не побывавшие в бою, еще не жестокие к трусу, напряженно ждавшие, что сейчас я произнесу: «Огонь!», тоже будто просили: «Не надо этого, прости!»

И ветер вдруг на минуту стих, самый воздух замер, словно для того, чтобы я услышал эту немую мольбу.

Я видел широченную спину Галлиулина, головой выдававшегося над шеренгой. Готовый исполнить команду, он, казах, стоял, целясь в казаха, который тут, далеко от родины, был всего несколько часов назад самым ему близким. От его, Галлиулина, спины доходило ко мне то же: «Не заставляй! Прости!»

Я вспомнил все хорошее, что знал о Барамбаеве: вспомнил, как бережно и ловко, словно оружейный мастер, он собирал и разбирал пулемет, как я втайне гордился: «Вот и мы, казахи, становимся народом механиков».

Я не зверь, я человек... И я крикнул:

— Отставить!

Наведенные винтовки, казалось, не опустились, а упали, как чугунные. И тяжесть упала с сердец.

— Барамбаев! — крикнул я.

Он обернулся, глядя спрашивающими, еще не верящими, но уже загоревшимися жизнью глазами.

— Надевай шинель!

— Я?

— Надевай... Иди в строй, в отделение!

Он растерянно улыбнулся, схватил обеими руками шинель и, надевая на ходу, не попадая в рукава, побежал к отделению.

Мурин, добрый очкастый Мурин, у которого дрожала винтовка, незаметно звал его кистью опущенной руки: «Становись рядом!», а потом по-товарищески подтолкнул под бок. Барамбаев снова был бойцом, товарищем.

Я подошел и хлопнул его по плечу:

— Теперь будешь сражаться?

Он закивал и засмеялся. И все вокруг улыбались. Всем было легко...

Вам тоже, наверное, легко? И те, кто будет читать эту повесть, тоже, наверное, вздохнут с облегчением, когда дойдут до команды «Отставить!».

А между тем было не так. Это я увидел лишь в мыслях; это мелькнуло, как мечта.

Было иное.

Заметив, что у Мурина дрожит винтовка, я крикнул:

— Мурин, дрожишь?

Он вздрогнул, выпрямился и плотнее прижал приклад, рука стала твердой. Я повторил команду:

— По трусу, изменнику Родине, нарушителю присяги... отделение... огонь!

И трус был расстрелян.

Судите меня!

Когда-то моего отца, кочевника, укусил в пустыне ядовитый паук. Отец был один среди песков, рядом не было никого, кроме верблюда. Яд этого паука смерте-

лен. Отец вытащил нож и вырезал кусок мяса из собственного тела — там, где укусил паук.

Так теперь поступил и я: ножом вырезал кусок из собственного тела.

Я человек. Все человеческое кричало во мне: «Не надо, пожалей, прости!». Но я не простил.

Я командир, отец. Я убивал сына, но передо мной стояли сотни сыновей. Я обязан был кровью запечатлеть в душах: изменнику нет и не будет пощады!

Я хотел, чтобы каждый боец знал: если струсишь, изменишь — не будешь прощен, как бы ни хотелось простить.

Напишите все это, пусть прочтут все, кто надел или готовится надеть солдатскую шинель. Пусть знают: ты был, быть может, хорош, тебя раньше, быть может, любили и хвалили; но, каков бы ты ни был, за воинское преступление, за трусость, за измену будешь наказан смертью.

НЕ УМИРАТЬ, А ЖИТЬ!

1

Наутро я опять объезжал участок.

Как и вчера, бойцы рыли окопы.

Но они были мрачны. Ухо нигде не улавливало смеха, взгляд не встречал улыбок.

Тяжело быть командиром невеселой армии.

Подъезжаю к окопу. Вижу: боец накрыл свой окоп жердями, присыпал сверху землей.

— Что ты натворил?

— Окоп, товарищ комбат.

— А что сверху?

— Дерева, товарищ комбат.

— Вылезай оттуда! Сейчас я тебе покажу, какие это дерева.

Красноармеец выскакивает. Достаю пистолет и всаживаю несколько пуль в лобовой накат.

— Лезь обратно! Посмотри, пробило?

Через полминуты он с готовностью кричит:

— Пробило, товарищ комбат!

— Что же ты построил? Что это, шалаш бахчевода

в Средней Азии? От солнца там будешь укрываться?.. Чего молчишь?

Красноармеец неохотно произносит:

— Она везде найдет...

— Кто она?

Он не отвечает. Я понимаю: он боится смерти.

Спрашиваю:

— Ты что, жить не хочешь?

— Хочу, товарищ комбат.

— Тогда разбирай, выбрасывай к черту эти палки! Клади бревна толщиной в телеграфный столб, клади в пять рядов, чтобы и снаряд не взял, если попадет.

Красноармеец тоскливо поглядывает то на окоп, то в лес: там, в лесу, в отдалении от опушки, надо валить и оттуда таскать тяжелые бревна.

— Авось не попадет, — говорит он.

Оно жило и здесь, хотя никого не радовало, это слово «авось». Оно не было словом бойца, собранного для боя.

— Расшвыривай! — кричу я. — И снова заставлю раскидать, если не положишь пять рядов.

Вздохнув, он берется за лопату и отгребает насыпанную сверху землю.

Я молча смотрю. Нет, ему еще не верится, что из этого окопа он, неуязвимый для врага, будет бить немцев. Ему не верится, что они станут падать под его пулями. На душе иное.

2

Некоторые взводы по расписанию проводили в тот день боевые стрельбы.

На противоположном берегу, откуда мог появиться противник, были установлены близкие и дальние мишени, изображающие фашистов по пояс и в рост.

Я хотел, чтобы каждый боец приобрел навык стрельбы из своего окопа, из своего подземного дома; хотел, чтобы вся лежавшая впереди местность была пристреляна.

По мишеням били из пулеметов и винтовок. Я забирался в окопы и работал с каждым.

— Не попал! Подумай: почему? Взял не тот прицел или не так приложился? Ну-ка, проверь прицел... Стрельнем-ка еще раз...

Наконец боец всаживал в намалеванную фашистскую морду две пули из трех. Это не плохой результат, в таких случаях солдату трудно скрыть гордость, но...

— Что невеселый? Вот так и будешь снимать их, когда сунутся.

— Разве пулей их возьмешь? Да они, товарищ комбат, отсюда и не полезут.

— А откуда?

— Кто их знает...

Это были слова, которые я уже слышал. Это был страх перед неведомым.

3

И я опять думал.

Объезжая семикилометровую линию, возвращаясь в блиндаж, обедая, работая в штабе, улегшись на ночь, я думал и думал.

Что произошло с батальоном? Не убил ли я вчера, расстреляв перед строем изменника, бежавшего ради спасения своей жизни, не убил ли я этим залпом великую силу любви к жизни, не подавил ли великий инстинкт самосохранения?

Вспомнилось, в одной статье я читал: «В бою в человеке борются две силы: сознание долга и инстинкт самосохранения. Вмешивается третья сила — дисциплина, и сознание долга берет верх».

Так ли это? Наш генерал, Иван Васильевич Панфилов, говорил об этом по-другому. Когда-то, еще в Алма-Ате, в ночном разговоре (пока не расспрашивайте, не отвлекайтесь, я потом передам весь разговор) Панфилов сказал: «Солдат идет в бой не умирать, а жить!»

Мне полюбились эти слова, я иногда повторял их. Теперь, готовясь к первому бою, думая о батальоне, которому выпало на долю драться под Москвой, я вспомнил Панфилова, вспомнил эти слова.

Неужели воля к жизни, инстинкт сохранения жизни — могучий первородный двигатель, свойственный всему живому, — проявляется только в бегстве?

Разве он же, этот самый инстинкт, не разворачивается вовсю, не действует с бешеной яростью и мощью, когда живое существо борется, дерется, царапается, кусается в смертельной схватке, защищается и нападает?

Нет, в этой небывалой войне за будущее нашей Родины, за будущее каждого из нас, любовь к жизни, воля жить, неистребимый инстинкт самосохранения должен стать для нас не врагом, а другом.

Но как пробудить и напрячь его?

4

В определенный час по расписанию в ротах проводились беседы или чтения газет вслух.

Я решил пойти в этот час по подразделениям — послушать, что говорят бойцам политруки.

В первой роте занятия проводил политрук Дордия. Не расставаясь с винтовками, бойцы кучкой сидели под открытом небом близ окопов.

Падал редкий снежок. На темной хвое появились первые, еще просвечивающие белые мазки.

Вокруг все было тихо, но каждый посматривал вдаль с особым чувством — каждый ждал: вот-вот там все загрохочет; со свистом и воем, о каком знали пока лишь по рассказам, полетят мины и снаряды; по полю, оставляя черные полосы на раннем снегу, двинутся стреляющие на ходу танки; из лесу выбегут, припадая к земеле и вновь вскакивая, люди в зеленых шинелях— те, что идут нас убить.

Дордия держал речь, заглядывая изредка в бумажку. Это были правильные слова, это были святые истины. Я услышал, что германский фашизм вероломно напал на нашу Родину, что враг угрожает Москве, что Родина требует от нас, если нужно, умереть, но не пропустить врага, что мы, бойцы Красной Армии, обязаны сражаться, не жалея самого драгоценного — жизни.

Я посмотрел на бойцов. Они сидели, прижавшись друг к другу, опустив головы или глядя в пространство, угрюмые, усталые.

Эх, политрук Дордия, что-то плохо тебя слушают... Чувствовалось: он и сам, мечтательный Дордия, до войны учитель, мучается этим. Он не гость в батальоне. Ему, как и тем, перед которыми он говорил, предстоял первый в его жизни бой.

Быть может, завтра, послезавтра ему придется с колотящимся сердцем под огнем перебегать из окопа в

окоп, когда рядом с грохотом будет вздыматься земля. И там, а не под тихим небом, беседовать с бойцами.

Впоследствии я видел его в такие часы — у него была и своя улыбка и свои, не записанные на бумажку, слова.

Но в тот день, переживая, как и все, что-то для него бесконечно важное, он не мог или не умел донести это чувство до сердца бойцов. Он повторял: «Родина требует», «Родина приказывает»... Когда он произносил: «стоять насмерть», «умрем, но не отступим», по тону чувствовалось, что он выражает свои думы, созревшую в нем решимость, но...

Зачем говоришь готовыми фразами, политрук Дордия? Ведь не только сталь, но и слова, даже самые святые, срабатываются, «пробуксовывают», как шестерня со стершимися зубьями, если ты не дал им свежей нарезки!

И зачем ты все время твердишь: «умереть, умереть»? Это ли теперь надо сказать? Ты, наверное, думаешь: в этом жестокая правда войны, правда, которую надо увидеть, не отворачивая взора, надо принять и внушить.

Нет, Дордия, не в этом, не в этом жестокая правда войны.

5

Я подождал, пока Дордия кончит. Потом поднял одного красноармейца.

— Ты знаешь, что такое Родина?

— Знаю, товарищ комбат.

— Ну, отвечай!

— Это наш Советский Союз, наша территория.

— Садись.

Спросил другого:

— А ты как ответишь?

— Родина — это... это, где я родился... Ну, как бы выразиться... местность...

— Садись. А ты?

— Родина? Это наше Советское правительство... Это... Ну, взять, скажем, Москву... Мы ее вот сейчас отстаиваем. Я там не был... Я не видал, но это Родина...

— Значит, Родины ты не видел?

Он молчит.

— Так что же такое Родина?

Стали просить: разъясните!

— Хорошо, разъясню... Ты жить хочешь?

— Хочу.

— А ты?

— Хочу.

— А ты?

— Хочу.

— Кто жить не хочет, поднимите руки.

Ни одна рука не поднялась. Но головы уже не были понурены — бойцы заинтересовались. В эти дни они много раз слышали: «смерть», а я говорил о жизни.

— Все хотят жить? Хорошо.

Спрашиваю красноармейца:

— Женат?

— Да.

— Жену любишь?

Сконфузился.

— Говори: любишь?

— Если бы не любил, то не женился.

— Верно. Дети есть?

— Есть сын и дочь.

— Дом есть?

— Есть.

— Хороший?

— Для меня неплохой...

— Хочешь вернуться домой, обнять жену, обнять детей?

— Сейчас не до дому... надо воевать.

— Ну, а после войны. Хочешь?

— Кто не захочет!..

— Нет, ты не хочешь!

— Как не хочу?

— От тебя зависит — вернуться или не вернуться. Это в твоих руках. Хочешь остаться в живых? Значит, ты должен убить того, кто стремится убить тебя. А что ты сделал для того, чтобы сохранить жизнь в бою и вернуться после войны домой? Из винтовки отлично стреляешь?

— Нет.

— Ну, вот... Значит, не убьешь немца. Он тебя убьет. Не вернешься домой живым. Перебегаешь хорошо?

— Да так себе...

— Ползаешь хорошо?

— Нет...

— Ну вот... подстрелит тебя немец. Чего же ты говоришь, что хочешь жить? Гранату хорошо бросаешь? Маскируешься хорошо? Окапываешься хорошо?

— Окапываюсь хорошо.

— Врешь! С ленцой окапываешься. Сколько раз я заставлял тебя накат раскидывать?

— Один раз.

— И после этого ты заявляешь, что хочешь жить? Нет, ты не хочешь жить! Верно, товарищи? Не хочет он жить?

Я уже вижу улыбки, у иных уже чуть отлегло от сердца. Но красноармеец говорит:

— Хочу, товарищ комбат.

— Хотеть мало... желание надо подкреплять делами. А ты словами говоришь, что хочешь жить, а делами в могилу лезешь. А я оттуда тебя крючком вытаскиваю.

Пронесся смех, первый смех от души, услышанный мною за последние два дня. Я продолжал:

— Когда я расшвыриваю жидкий накат в твоем окопе, я делаю это для тебя. Ведь там не мне сидеть. Когда я ругаю тебя за грязную винтовку, я делаю это для тебя. Ведь не мне из нее стрелять. Все, что от тебя требуют, все, что тебе приказывают, делается для тебя. Теперь понял, что такое Родина?

— Нет, товарищ комбат.

— Родина — это ты! Убей того, кто хочет убить тебя! Кому это надо? Тебе, твоей жене, твоему отцу и матери, твоим детям!

Бойцы слушали. Рядом присел политрук Дордия, он смотрел на меня, запрокинув голову, изредка помаргивая, когда на ресницы садились пушинки снега. Иногда на его лице появлялась невольная улыбка.

Говоря, я обращался и к нему. Я желал, чтобы и он, политрук Дордия, готовивший себя, как и все, к первому бою, уверился: жестокая правда войны не в слове «умри», а в слове «убей».

Я не употреблял термина «инстинкт», но взывал к нему, к могучему инстинкту сохранения жизни. Я стремился возбудить и напрячь его для победы в бою.

— Враг идет убить и тебя и меня, — продолжал я.— Я учу тебя, я требую: убей его, сумей убить, потому что и я хочу жить. И каждый из нас велит тебе, каждый

приказывает: убей, мы хотим жить! И ты требуешь от товарища, — обязан требовать, если действительно хочешь жить, — убей! Родина — это ты, Родина — это мы, наши семьи, наши матери, наши жены и дети. Родина— это наш народ. Может быть, тебя все-таки настигнет пуля, но сначала убей! Истреби, сколько сможешь! Этим сохранишь в живых его, и его, и его (я указывал пальцем на бойцов) — товарищей по окопу и винтовке! Я, ваш командир, хочу исполнить веление наших жен и матерей, веление нашего народа, хочу вести в бой не умирать, а жить! Понятно? Все! Командир роты! Развести людей по огневым точкам.

6

Раздались команды: «Первый взвод, становись!», «Второй взвод, становись!..»

Бойцы вскакивали, бегом находили места, расправляли, как требовалось, плечи. Быстро подравнивалась колеблющаяся линия штыков. Ясно чувствовалось — это воинский строй, это дисциплинированная, управляемая сила. Интервалы меж взводами казались гнездами, где плотно сидят невидимые скрепы.

Может быть, моя речь была несколько наивна, но в ту минуту мне казалось: я достиг своего. Не поступаясь ни долгом, ни честью, люди освобождались от навязчивого, придавливающего слова «умереть».

ГЕНЕРАЛ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ПАНФИЛОВ

1

Он приехал к нам на следующий день, тринадцатого.

Мы не ждали его, но вышло так, что, как нарочно, в штабе сидели вызванные мною командиры рот.

Надо ли описывать наше штабное помещение? Посмотрите вокруг: там, в подмосковном лесу, нашим обиталищем был такой же блиндаж — врытая в землю бревенчатая сырая коробка, к стенкам которой нельзя прислониться: прилипнешь к смоле. День и ночь горела лампа. Наружу в разных направлениях выбегали провода, словно зажатые здесь в кулаке.

Командиры помечали на картах схему минных полей, которые предстояло заложить ночью. Для колесно-

го движения оставался открытым лишь большак с мостом у села Новлянского; другие подходы к рубежу минировались.

На столе у лампы лежал большой лист шероховатой ватманской бумаги, на нем цветными карандашами была нанесена схема нашей обороны. Схему вычертил начальник штаба Рахимов. Он отлично рисовал и чертил.

Я сберег этот лист. Хотите взглянуть?.. Красиво? Не только красиво, но и точно.

Эта вьющаяся голубоватая лента — река Руза. Ломаная полоса по берегу — эскарп. Темно-зеленым очерчены леса. Черные точки на той стороне — минные поля. Некрутые красные дуги с обращенной на запад щетиной — наша оборона. Разными значками — видите, они тоже все красные — помечены окопы стрелков, пулеметные гнезда, противотанковые и полевые орудия, приданные батальону.

Линия, отмеренная нам, была, как известно, очень длинной: семь километров — батальону. Мы растянулись, как потом говорил Панфилов, в «ниточку». Даже в тот день, тринадцатого октября, я все еще не допускал мысли, что в районе Волоколамского шоссе лишь эта ниточка окажется на пути у немцев, когда они, стремясь к Москве, выйдут на «дальние подступы», на наш рубеж.

Но...

Командиры рот сидели у лампы, помечая у себя на топографических картах минные поля.

Шел шутливый разговор о тринадцатом числе.

— Для меня оно счастливое, — говорил лейтенант Краев, командир пулеметной роты, — я родился тринадцатого и женился тринадцатого. Что начну тринадцатого — все удается, что пожелаю — все исполнится.

У него была особая манера говорить. Он бурчал себе под нос, и не всегда было ясно, шутит он или серьезен.

— Что ж, например, вы сегодня пожелали? — спросил кто-то.

Все с интересом взглянули на худое, крупной кости, расширяющееся книзу лицо Краева. За ним знали способность «отчубучивать».

— Фляжку коньяку! — буркнул он и захохотал.

Вошел начальник штаба Рахимов. Он всегда двигался быстро и бесшумно, словно не в сапогах, а в чувяках.

— Товарищ комбат, ваше приказание выполнено, — сказал он обычным, спокойным тоном.

Я послал его в дальнюю разведку выяснить, далеко ли от нас идут бои. В штабе полка об этом не знали ничего определенного.

И вот Рахимов вернулся неожиданно быстро.

— Выяснили?

— Да, товарищ комбат.

— Докладывайте.

— Разрешите письменно? — спросил он, протягивая сложенный листок.

На бумаге было три слова: «Перед нами немцы».

Меня охватил холодок. Неужели вот он, наш час?

Умен, очень умен Рахимов! Узнав от часового, что я в блиндаже не один, он, перед тем как войти, доверил эти три слова бумаге, чтобы не произносить их вслух, чтобы ни видом, ни тоном не внести сюда страха.

Я поймал себя на том, что и мне хочется скрыть это сообщение от других, словно этим я мог сделать недействительной действительность — отстранить, оттолкнуть ее.

Я взглянул на цветную схему, увидел минные поля, реку, очерченную противотанковым отвесом, окопы, крытые четырьмя-пятью рядами бревен, пулеметы и орудия; представил еще одно: человека в шинели, бойца.

Я спросил по-казахски:

— Ты видел сам?

Рахимову я, безусловно, доверял и все-таки спросил.

— Да.

— Где?

— За двадцать — двадцать пять километров отсюда: в селе Середа и в других деревнях.

— А этот промежуток? Что там?

— Ничья земля.

— Ну, — сказал я по-русски, — ваше желание, Краев, кажется, исполнится: в наш адрес прибыло много фляжек с коньяком...

Все вопросительно смотрели.

— ...и с ромом, — продолжал я. — Перед нами немцы. Рахимов, сообщите обстановку.

Рахимова выслушали молча, и лишь Краев буркнул:

— Вот и хорошо!

— Чего же хорошего? — спросил кто-то.

— А стоять лучше? Перестоялись.

Не спросив разрешения, в блиндаж вбежал мой коновод Синченко.

— Товарищ комбат! Генерал сюда идет... — громко зашептал он.

Я быстро надел шапку, поправил гимнастерку и кинулся навстречу.

Но дверь уже открылась. К нам входил командир дивизии генерал-майор Иван Васильевич Панфилов.

2

Я вытянулся и отрапортовал:

— Товарищ генерал-майор! Батальон занимается укреплением оборонительного рубежа. Командиры рот копируют схему минных заграждений. Командир батальона старший лейтенант Бауржан Момыш-Улы.

Панфилов спросил:

— Чрезвычайные происшествия были?

«Знает!» — мелькнуло у меня. Я ответил:

— Да, товарищ генерал. Трус, ранивший себя в руку, был расстрелян перед строем.

— Почему не предали суду?

Волнуясь, я стал объяснять.

Я говорил, что при других обстоятельствах я отдал бы его под суд. Но в данном случае надо было реагировать немедленно, и я принял на себя ответственность.

Панфилов не перебивал.

Впервые видел я его в полушубке. Мягкий, белой юфти полушубок, чуть отдававший приятным запахом дегтя, не перешитый по фигуре, был ему широк, но уже обмялся и, не топорщась, выказывал впалую его грудь, наискось перехваченную портупеей, и сутуловатую спину. Слушая, генерал смотрел вниз, склонив морщинистую шею. Мне казалось, он не одобряет меня.

— Сами расстреляли? — спросил он.

— Нет, товарищ генерал: расстреляло отделение, командиром которого он был, но приказал я.

Панфилов поднял голову.

Густые, круто изломанные брови над маленькими, чуть раскосыми глазами были сдвинуты.

— Правильно поступили, — сказал он.

Потом, подумав, повторил:

— Правильно поступили, товарищ Момыш-Улы. Напишите рапорт.

Теперь только он, казалось, заметил, что вокруг все стоят.

— Садитесь, товарищи, садитесь! — проговорил он и, расстегнув поясной ремень, стал снимать полушубок.

В суконной гимнастерке с незаметными, защитного цвета, звездами сутуловатость обозначилась резче.

— Однако у вас, товарищ Момыш-Улы, холодновато. Почему не топите? И горячего чайку, наверное, нет?

Подойдя к железной печке, он потрогал остывшую трубу, заглянул за печку, словно чего-то искал, увидел топор и, присев на корточки, стал ловко, придерживая полено рукой, несильными меткими ударами откалывать мелкие полешки.

К нему подбежал Рахимов.

— Товарищ генерал, разрешите, я...

— Зачем? Я это люблю. В другой раз вам, конечно, самому придется позаботиться о своем командире.

Такова была манера Панфилова — он нередко делал замечания не напрямик, а этаким боковым ходом.

Но, смягчая даже и эту чуть заметную резкость, он ласково добавил:

— Садитесь, товарищ Рахимов, садитесь! Сюда, на чурбачок.

Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь, кроме Панфилова, укладывал полешки таким способом — шалашиком. Некоторые, покрупнее, он сперва взвешивал в руке. Один раз положил было плашку, но, поколебавшись, вытащил.

Не знаю, вам, может быть, кажется, что, даже растапливая печь, генералу не пристало колебаться, но Панфилову это не помешало: когда он, подсунув бересты, чиркнул спичкой, в печке сразу затрещало.

С минуту он посидел у огня. Красноватые отсветы играли на пятидесятилетнем, с морщинками, но не усталом лице.

— Ну вот, — сказал он, поднимаясь, — этак веселее... У вас готово, товарищ Момыш-Улы?

— Готово, товарищ генерал.

Я протянул короткий рапорт. Панфилов прочел у лампы, положил бумагу на стол, обмакнул перо и, вздохнув, написал: «Утверждаю».

3

На столе, как вы знаете, лежала отлично вычерченная схема нашей обороны.

Отодвинув рапорт, Панфилов долго смотрел на схему.

— Закупорились, кажется, неплохо, — сказал он. — Но...

Чисто русским жестом он почесал затылок.

— Я потом с вами, товарищ Момыш-Улы, пройдусь. Посмотрю на местности... Обстановку знаете, товарищи?

Ответили неуверенно.

Панфилов достал из полевой сумки карту, уже чуть потрепанную, чуть потертую на сгибах, развернул и расстелил поверх схемы.

— Давайте-ка, товарищи, поближе, — сказал он. — Противник прорвался здесь и здесь.

Он указал несколько пунктов вблизи Вязьмы и, оглядев лица, — всем ли видно, всем ли понятно, — продолжал:

— Наши войска дерутся в районе Гжатска и Сычовки. Вот главные узлы сопротивления.

Не нажимая, он очертил тупым концом карандаша несколько неправильной формы кругловатых фигур в различных местах карты. Потом опять оглядел всех нас.

— Вы, может быть, думали, — сказал он, положив карандаш, — что вояки, которые в эти дни проходили мимо нас, это и есть наша армия?

Он улыбнулся, от маленьких глаз побежали гусиные лапки. Никто не решился кивнуть, только Краев мотнул головой.

— Признавайтесь, думали?

Никто не ответил. Панфилов затронул то, что тяжестью лежало на сердце у каждого.

— Нет, товарищи, армия дерется. Вы думаете, немцы дали бы нам сидеть здесь столько времени, если бы с ними не сражались наши боевые части? Сейчас противник вышел к нашей линии, но небольшими силами...

Его сковывают войска, которые сражаются у него в тылу. У дивизии очень растянутая линия, но...

Панфилов помолчал.

— Нашей дивизии придано несколько артиллерийских противотанковых полков. Цифру я вам не назову. Это артиллерия Главного командования.

Вновь взяв карандаш, Панфилов опять стал смотреть на карту. Его стриженая голова, черные волосы которой, казалось, были поровну — баш на баш — перемешаны с белыми, склонилась, пробегающие по топографическим значкам глаза сощурились, словно стараясь разглядеть что-то неясное.

— В чем же теперь задача? — негромко произнес он, как бы спрашивая самого себя. — Задача в том, чтобы встретить врага этой артиллерией там, где они нанесут главный удар. Если главный удар случится здесь, у вас, здесь будет и артиллерия Главного командования. Можете, товарищи командиры, передать это бойцам. Впрочем... Через сколько времени, товарищ Момыш-Улы, сможете собрать батальон?

— По тревоге, товарищ генерал?

— Нет, зачем по тревоге... Час достаточно?

— Да, товарищ генерал.

Приезжая к нам, Панфилов обычно после проверки боеготовности беседовал с батальоном. Он достал часы и подумал, поглаживая большим пальцем стекло.

— Хотя, товарищ Момыш-Улы, не смогу — этот маленький старшина не позволяет, — он указал на часы. — Не собирайте. Ну вот, товарищи командиры, начнем воевать... Полезет немчура — уложим. Еще полезет — еще уложим. Перемалывать будем...

Панфилов поднялся, и все тотчас встали.

— Перемалывать...

Панфилов повторил это слово, которое дала Красной Армии партия, и словно прислушивался, как оно звучит.

— Вы меня поняли?

Почти всегда Панфилов заканчивал этим вопросом, всматриваясь в лица тех, с кем говорил.

— А теперь... теперь не худо бы стакан чайку с дороги... Намек, товарищ комбат, кажется, был?

Я закричал:

— Синченко! Самовар! Бегом!

— Ого! Вы и самоваром обзавелись? Добре...

Все улыбались. Панфилов заражал ненаигранной, неподчеркнутой уверенностью.

Отпустив командиров, он сложил и спрятал карту.

4

Вбежал Синченко с кипящим самоваром.

— Легче, легче, — сказал Панфилов. — Зачем с самоваром бегать?

— На то война, товарищ генерал, — бойко ответил Синченко.

— Для беготни?

Синченко ловко водрузил на стол самовар.

— Бегаю с расчетом, товарищ генерал.

Это Панфилову понравилось.

— Добре, добре, — сказал он. — Но теперь, товарищ, воевать нам придется не с расчетом.

— А с чем, товарищ генерал?

— С тройным расчетом. — Панфилов засмеялся. — Зеленого чая нет?

Долго прожив в Средней Азии, Панфилов привык там к этому чаю.

— Не имеется, товарищ генерал.

— Жаль... Ну-ка, что завариваете?

Синченко подал начатый пакет. Панфилов посмотрел обертку, понюхал:

— Неплохой... Немного выдохся. В коробочку бы, товарищ... Ну-ка, давайте чайник, я займусь.

Дважды выполоскав кипятком небольшой белый чайник, он кинул туда щепотку, заглянул, прищурился и немного добавил. Потом без воды поставил на конфорку.

— Пусть согреется, пооживет, — пояснил он.

Перед нами были немцы, позади — Москва, а Панфилов у переднего края с толком и вкусом заваривал чай.

— Схему, товарищ Момыш-Улы, не убирайте, — сказал он. — Давайте-ка вместе взглянем... Вы, товарищ Момыш-Улы, что-то невеселый?

Панфилов спросил мягко, а я чуть не упал, словно изо всей силы он ударил меня этим вопросом. Ведь лишь вчера я сам это же сказал бойцу. Неужели и я таков же?

— Что вас, товарищ Момыш-Улы, смущает? Не вставайте — сидите, пожалуйста, сидите.

— Видите ли, товарищ генерал... — С досадой я уловил в своем тоне неуверенность, ту самую, которую вытравлял у других. — Скажите, товарищ генерал, батальону так и придется держать семь километров?

— Нет, — Панфилов помолчал и, прищурившись, улыбнулся. — Нет. Сегодня я снимаю одну роту вашего полка. Потом, может быть, возьму другую. Так что вам, товарищ Момыш-Улы, придется еще прихватить километр-полтора.

— Еще километр?

— А как же быть, товарищ Момыш-Улы? Посоветуйте.

Панфилов сказал это без малейшей иронии и вместе с табуреткой придвинулся ко мне, как всегда, очень живо, словно я, старший лейтенант, мог действительно что-то посоветовать генералу.

— Как же быть? — повторил он. — Ведь у нас ниточка, порвать ее нетрудно. Ну, порвет кто-нибудь... А дальше?

Он с любопытством посмотрел на меня, ожидая ответа. Я молчал.

— Вот из-за этого-то «дальше» я и снимаю роты. Неосторожно?

Он спросил меня, словно это сказал я, но я слушал, не раскрывая рта.

— Сейчас, товарищ Момыш-Улы, нельзя быть осторожным. Сейчас надо быть... — он лукаво прищурился, — трижды осторожным. Тогда, думаю, мы сможем на этой полосе до Волоколамска его с месяц поманежить.

— До Волоколамска? Отступать, товарищ генерал?

— Думаю, сидеть на месте не придется, а действовать так, чтобы, где бы он ни прорвался, везде перед ним были наши войска. Вы меня поняли?

— Да, товарищ генерал, но...

— Говорите, говорите. Что вас еще смущает? Бойцы побаиваются немца, да?

— Да, товарищ генерал.

Стараясь быть кратким, я стал докладывать. Впрочем, здесь не вполне подходит это слово. Панфилов умел слушать столь живо, что казалось, говоришь что-то

очень для него существенное, что-то очень умное. Я сам не заметил, как стал не докладывать, а рассказывать, рассказывать так, как видел и чувствовал.

Когда я умолк, Панфилов некоторое время думал.

— Да, товарищ Момыш-Улы, — произнес он наконец, — сейчас нам ничто другое не страшно. Только это страшно.

Он встал, подошел к самовару, налил в чайник кипятку, вновь поставил на конфорку и вернулся.

Не садясь, он склонился над разрисованным листом и опять, как при первом взгляде, сказал:

— Закупорились крепко.

Это, однако, не звучало одобрением.

— Что-то очень сперто. Не мало ли вы тут оставили проходов? — Взяв карандаш, он указал на минные поля. — Не заперли ли вы, товарищ Момыш-Улы, самих себя?

— Но ведь это впереди, товарищ генерал, — удивленно сказал я.

— То-то и оно, что впереди. Не шевельнешься, тесно.

Подумалось: «Тесно? У меня на семи километрах тесно? Что он говорит?»

Не нажимая, Панфилов тонкими штрихами пометил несколько проходов в минных заграждениях. Я все еще не понимал — зачем? А Панфилов легкими касаниями простого черного карандаша — иных он не любил — перечеркнул красивый оттиск нашей оборонительной линии и наметил стрелку, устремленную вперед в расположение немцев.

Я не мог сообразить, чего он хочет. Чтобы мы пошли в наступление, чтобы атаковали скапливающуюся немецкую армию? И это после того, как он сообщил, что снимают роту, что батальону предстоит растянуться еще на километр-полтора? После того, как говорил, что теперь надо быть трижды расчетливым и трижды осторожным? После того, как произнес: «до Волоколамска»? И что это — приказ? Но разве так приказывают?

— На вашем месте, — сказал он, легонько штрихуя стрелку, — я вот о чем подумал бы...

От острия стрелки, направленной в расположение немцев, он провел завиток, обозначающий возвращение на рубеж, и взглянул на меня.

— ...подумал бы... А то в вашей картинке даже и мысли об этом я не вижу.

Вынув часы, Панфилов повернулся к самовару.

— Этот господин тоже требует внимания. Давайте-ка по стакану чаю — и пойдем.

— Ночевать у нас будете, товарищ генерал? — спросил Синченко.

— Нет, товарищ. Теперь ночевать некогда, теперь и ночью приходится дневать.

Он улыбнулся, снял чайник, поднял крышку, понюхал и сказал:

— Вот это напиток.

Подавая мне стакан, он хитро прищурился:

— А ведь сегодня у нас небольшой юбилей — нашей дивизии сегодня стукнуло ровно три месяца от роду. Следовало бы ознаменовать поосновательнее, но... это успеется... И ровно три месяца, как мы с вами, товарищ Момыш-Улы, первый раз встретились. Помните, как вы лихо промаршировали?

И он опять улыбнулся.

ТРИ МЕСЯЦА НАЗАД

1

Да, я помнил. Это было ровно три месяца назад, тринадцатого июля тысяча девятьсот сорок первого года.

В военном комиссариате Казахстана, где я служил инструктором, полагался перерыв на обед от двенадцати до часу. Пообедав, я шел из столовой. Вижу, среди двора стоит навысокий сутуловатый человек в генеральской форме. Рядом два майора.

В Алма-Ате мы редко встречали генералов. Я присмотрелся.

Генерал стоял спиной, заложив руки назад и слегка расставив ноги. Лицо, видное вполоборота, показалось мне очень смуглым — почти таким же черным, как мое. Опустив голову, он слушал одного из майоров. Из-под высокого генеральского воротника выглядывала исчерна-загорелая, в крупных морщинах шея.

По званию артиллериста я носил шпоры и — должен сознаться в этой слабости — не простые, а серебряные на концах, с так называемым малиновым звоном.

Минуя генерала, дал строевой шаг. Впечатал ногу — дзинь. Другую — дзинь.

Генерал повернулся. В усах, подстриженных двумя квадратиками, не проглядывала седина. Заметно выдавались скулы. Сощуренные узкие глаза были прорезаны по-монгольски, чуть вкось. Подумалось: татарин.

Войдя в комнату, я спросил товарищей:

— Что за генерал? Зачем он к нам пришел?

Мне объяснили: это генерал Панфилов, военный комиссар Киргизии.

Знаете ли вы, что такое военный комиссар республики? Это глава военкомата — советского учреждения, ведающего учетом военнообязанных, допризывной подготовкой. Между нашими двумя военкоматами — казахским и киргизским — существовал договор социалистического соревнования. Раз или два в год договор перезаключался. Все думали, что для этого, вероятно, и приехал генерал.

Я сел за стол, придвинул папку, раскрыл. Помню, в тот день я составлял план комсомольского кросса. Это было, конечно, нужным и важным, но во мне жило тягостное неудовлетворение.

Почти месяц назад началась война, в газетах появлялись названия новых направлений, новых городов, захваченных врагом, а я, старший лейтенант Красной Армии, сидел в Алма-Ате, за три тысячи километров от фронта, и составлял план кросса.

Не то. Не то, Баурджан!

2

Отворилась дверь, и вошел генерал. С ним оба майора. Мы встали.

— Садитесь, садитесь, — сказал генерал. — Здравствуйте... Кто здесь старший лейтенант Момыш-Улы?

Что такое? Почему он спрашивает меня? Я взволнованно встал. Генерал улыбнулся.

— Садитесь, товарищ Момыш-Улы, садитесь.

Он говорил хрипловато и негромко. Подойдя ко мне, он придвинул стул, сел, снял генеральскую, с красным околышем, фуражку и положил на стол. В черных волосах, стриженных под машинку, обильно пробивалась седина.

В фигуре, в лице, в манере говорить и держаться не было, казалось, ничего повелевающего. И лишь брови, круто изломанные почти под прямым углом, странно противоречили этому. Бровей, как и усов, седина не коснулась.

— Будем знакомы, — сказал он. — Меня зовут Иван Васильевич Панфилов. Знаете ли вы, что у вас в Алма-Ате будет формироваться новая дивизия?

— Нет, не знаю.

— Так вот, командиром дивизии назначен я. По приказу Среднеазиатского военного округа вы направлены в дивизию в качестве командира батальона.

Он достал и вручил мне предписание.

— Сколько времени вам нужно, чтобы сдать дела?

— Немного. Могу через два часа явиться.

Он подумал.

— Этого не надо. Вы женаты?

— Да.

— Тогда сегодня попрощайтесь с семьей и приходите ко мне в двенадцать часов завтра.

3

Назавтра без пяти минут двенадцать я всходил по широким ступеням на крыльцо Дома Красной Армии. Мне указали комнату, где поселился генерал.

Чуть сутулясь, вобрав голову в плечи, он сидел за большим письменным столом, просматривая какие-то бумаги. В дальнейшем мне довелось много встречаться с Панфиловым, но лишь в этот раз я видел его с бумагами. Единственной бумагой, которая потом, под Москвой, всюду сопровождала его, была топографическая карта.

Карта лежала перед ним и теперь. Я ее сразу узнал: это был план города и окрестностей Алма-Аты. На ней лежали с отстегнутым ремешком карманные часы.

Взглянув на часы, генерал быстро поднялся и, отодвинув тяжелое кресло, выбрался из-за стола. Походка была легкой, в ней не чувствовался возраст.

Мы разговаривали стоя. Панфилов то прохаживался, то останавливался, заложив руки за спину и слегка расставив ноги.

— Так вот, товарищ Момыш-Улы, — начал он, — дивизии пока нет. Ни штаба нет, ни полков, ни батальо-

нов. И вам, значит, командовать некем. Но все это будет, все это мы сформируем. А пока вам придется мне помочь. Я хочу с вами посоветоваться.

Генерал шагнул к столу, перелистал бумаги, нашел нужную, взял толстый красный карандаш, повертел и, обернувшись ко мне, сказал:

— Вот, товарищ Момыш-Улы, самый глупый карандаш на свете.

— Почему, товарищ генерал?

— Потому, что им пишут резолюции, — шутливо ответил он и продолжал: — Этим карандашом, не зная дела, очень легко все что угодно решить в две минуты. Провел черту на карте — и готово: вопрос решен. Наложил резолюцию — и готово: вопрос решен. Возьмите-ка его, чтобы он мне не попадался. Но и сам, товарищ командир батальона, пореже пользуйтесь им.

Передав с улыбкой карандаш, он затем озабоченно спросил:

— Как вы думаете, где бы нам побыстрее полудить котлы?

В моем взгляде выразилось, вероятно, изумление, и генерал разъяснил:

— Ведь наша дивизия будет вроде ополченческой: она формируется сверх плана. На новенькое рассчитывать нечего. И требовать не станем.

Пришлось отвечать и на многие другие, большей частью такие же странные вопросы, причем я не мог отделаться от впечатления, что Панфилов интересуется тем, чем, казалось бы, не пристало интересоваться генералу.

Напоследок, протянув бумагу, он дал мне поручение.

— Тут указаны адреса помещений, — сказал он, — которые выделены нам для формировочных пунктов. Надо взглянуть, проверить, все ли они подходящи. Посмотрите дворы, будет ли где шагать, имеются ли кухни, плиты, кипятильники?

Я опять удивился: прилично ли генералу заниматься этим?

Отдавая мне список и вглядываясь в мое лицо, Панфилов спросил:

— Вы поняли меня?

— Да, товарищ генерал.

Он взял часы.

— Сколько времени вам для этого понадобится?

— К вечеру сделаю, товарищ генерал.

Круто изломанные брови недовольно поднялись:

— Что значит — к вечеру?

— К шести часам, товарищ генерал.

Он подумал.

— К шести... Нет... Доложите мне об исполнении в восемь часов.

4

Проходили дни, я исполнял мелкие поручения генерала. Меж тем рождалась дивизия, прибывали командиры.

Однажды, выйдя от Панфилова, я увидел: навстречу идет полковник артиллерии. У него были длинные ноги и длинное лицо с двумя резкими морщинами у рта.

Я посторонился. Полковник взглянул на мои петлицы и остановился.

— Артиллерист? — отрывисто спросил он.

— Да, товарищ полковник.

— В мое распоряжение?

— Не могу знать. Назначен командиром батальона.

— В пехоту? Как так? Идемте к генералу.

По ходу разговора у генерала я понял, что стремительный полковник был только что прибывшим командиром артиллерийского полка нашей дивизии.

— Прикажите ему, товарищ генерал, отправиться в мое распоряжение. И пусть принимает сегодня же дивизион.

Панфилов обратился ко мне:

— А вы, товарищ Момыш-Улы, что об этом думаете? Справитесь с дивизионом?

— Нет, товарищ генерал, не справлюсь.

Панфилов уселся поудобнее. В сощуренных монгольского разреза глазах мелькнуло любопытство. Такова была одна из его черточек: не погашенное возрастом, удивительное в его годы любопытство. Он, казалось, с интересом ожидал: «А ну, что скажете вы, полковник?»

— Как не справитесь? — сердито спросил полковник. — Батареей командовали?

— Да.

— Ну и хорошо... Или, может быть, вместо вас послать в дивизию майора? Может быть, окончившего ака-

демию? Таких ни одного нам не дадут. Прошу, товарищ генерал, считать вопрос решенным.

Но я почтительно и твердо сказал:

— Я, товарищ генерал, обязан быть честным. С дивизионом не справлюсь, мое образование недостаточно.

Знаете ли вы, кто виноват в моем упорстве? Профессор Дьяконов, даже и не подозревающий, вероятно, о моем существовании. Ему, автору капитального трехтомного труда «Теория артиллерийского огня», поклоняются артиллеристы. Не зная высшей математики, окончив после средней школы лишь девятимесячные артиллерийские курсы, я не совладал с этим сочинением. Какой же из меня командир дивизиона, как я буду управлять сосредоточенным огнем батарей, если не могу вычислить выстрел «по Дьяконову», не умею дать точного «дьяконовского залпа»?

Впоследствии, наблюдая артиллерию и артиллеристов на войне, я понял, что прав был не я, а полковник. Война — лучшая академия, и, повоевав, я командовал бы не хуже других и не посрамил бы артиллерии.

— Чего же вы хотите? — спросил полковник.

— Батарею, — сказал я.

— Что вы! У меня младшие лейтенанты сидят на батареях. Хотите в штаб, помощником начштаба?

У меня вырвалось:

— Боже избави!

Генерал, с интересом следивший за нашим разговором, рассмеялся.

— Напрасно, товарищ Момыш-Улы, напрасно... Штаб не обязательно бумага. И не обязательно красный карандаш...

— Какой красный карандаш? — спросил полковник.

— Это, мне кажется, и к вам относится, полковник,— шутливо сказал Панфилов. — Потом вам расскажу.

Затем, став серьезным, добавил:

— Я подумаю. Идите, товарищ Момыш-Улы.

5

Продолжение последовало в эту же ночь.

Я был дежурным по штабу. Панфилов работал далеко за полночь. Как обычно, он вызывал и вызывал командиров.

Рождалась дивизия. В пустующие летом школы, ставшие пунктами формирования, приходили в эти дни из города и окрестных колхозов призванные в армию — сплошь немолодые, тридцати — тридцати пяти лет, не побывавшие, в большинстве, на военной службе.

В этот час они — будущие панфиловцы — спали.

Наконец и у нас, в большом каменном доме стало тихо.

Скрипнула дверь, в коридоре послышались шаги. Я встал и оправил гимнастерку, узнав походку генерала

Он заглянул в открытую дверь.

— Вы здесь, товарищ Момыш-Улы? Дежурите?

Панфилов шел с полотенцем, без генеральского кителя, в белой нижней рубашке. Лицо его было утомленным.

В комнате было накурено. Панфилов распахнул окно и присел на подоконник.

— Думал о вас, товарищ Момыш-Улы, думал, — сказал он. — Посоветуйте-ка. что с вами делать.

— Я, товарищ генерал, отправлюсь туда, куда мне прикажут. Но если вы спрашиваете мое мнение...

— Садитесь-ка, садитесь... Да, да, если спрашиваю ваше мнение...

— ...То я попросил бы, товарищ генерал, не дивизион. а батарею или батальон.

— Батальон? Батальоном, товарищ Момыш-Улы, тоже не легко командовать... Общевойсковой тактикой вы интересовались? Читали что-нибудь об этом?

Я перечислил кое-что прочитанное.

— А отступательный бой? Интересовались этим?

— Нет, товарищ генерал...

— Да, батальоном вам не легко будет командовать, — повторил Панфилов.

Он посмотрел на меня так, что я покраснел. Заговорило самолюбие.

— Возможно, — выпалил я. — Но умереть сумею с честью, товарищ генерал.

— Вместе с батальоном?

— Вместе с батальоном.

Неожиданно Панфилов рассмеялся:

— Благодарю за такого командира... Нет, товарищ Момыш-Улы, сумейте-ка принять с батальоном десять

боев, двадцать боев, тридцать боев и сохранить батальон. Вот за это солдат скажет вам спасибо!

Он соскочил с подоконника и сел рядом со мной на клеенчатый диван.

— Я сам солдат, товарищ Момыш-Улы. Солдату умирать не хочется. Он идет в бой не умирать, а жить. И командиры ему нужны такие. А вы этак легко говорите: «Умру с батальоном». В батальоне, товарищ Момыш-Улы, сотни человек. Как же я вам их доверю?

Я молчал. Молчал и Панфилов, вглядываясь в меня. Наконец он сказал:

— Ну, что скажете, товарищ Момыш-Улы? Возьметесь вести их в бой — не умирать, а жить?

— Возьмусь, товарищ генерал.

— Ого, вот ответ солдата. А знаете ли вы, что для этого надо?

— Разрешите, товарищ генерал, просить, чтобы вы это сказали.

— Хитер, хитер... Во-первых, товарищ Момыш-Улы, вот это... — он похлопал себя по лбу. — Скажу вам по секрету, — он шутливо оглянулся и, привстав, шепнул: — на войне тоже бывают дураки.

Потом, перестав улыбаться, продолжал:

— И нужна еще одна очень жестокая вещь... очень жестокая: дисциплина.

У меня вылетело:

— Но ведь вы... — и я прикусил язык.

— Говорите, говорите! Вы ведь хотели сказать что-го обо мне?

Но я не решался.

— Говорите. Что же, придется приказать?

— Я хотел сказать, товарищ генерал... ведь вы же такой мягкий...

— Ничего подобного. Это вам кажется.

Мои слова его, видимо, задели. Он встал, взял полотенце, прошелся.

— Мягкий... Имейте в виду, товарищ Момыш-Улы, управляют не криком. Мягкий... Вовсе не мягкий... Ну, что ж, принимать дивизион не хочется? А?

Я ничего не ответил, лишь посмотрел на генерала.

Он сказал:

— В академию бы вам надо... Ну, бог с вами! Оби-

дится на меня полковник, но... выдержу как-нибудь отступательный бой... Будете командовать батальоном.

— Есть командовать батальоном, товарищ генерал.

Так случилось, что я, артиллерист, стал командиром батальона.

6

Еще несколько дней я пробыл в штабе. Присматриваясь, я старался распознать: как может управлять дивизией этот добрый, мягкий человек, лишенный, казалось бы, того, что именуется «напористостью»?

Однако он не всегда был мягок.

Однажды я видел, как, привыкнув, очевидно, к его постоянному: «Садитесь, пожалуйста, садитесь», штабной командир, войдя к Панфилову, сел без приглашения.

— Встаньте! — резко сказал Панфилов. — Выйдите отсюда. Немного подумайте за дверью, потом войдете снова.

Отдавая какие-либо приказания, Панфилов никогда не забывал проверить, выдержан ли срок исполнения. У него был излюбленный жест — поглаживать большим пальцем выпуклое стекло карманных часов. Иной раз казалось, он ласкает любимое маленькое существо. В случае опоздания он требовал объяснений. Однажды мне довелось быть свидетелем, как он отчитывал командира, не исполнившего его задания в срок:

— Вы недобросовестный, недисциплинированный работник. Я знаю вас всего несколько дней, но, к сожалению, вы уже показали себя как лентяй.

Его странные брови сошлись, их излом, казалось, стал круче. Он не кричал, а говорил чуть громче и чуть отчетливее, чем обычно. Тем тяжелее ложились слова.

В мою память врезался незначительный случай.

По поручению генерала я с красноармейцем принимал и перевозил на склад первый миномет, прибывший в адрес дивизии. Панфилов захотел посмотреть миномет.

Я крикнул из окна красноармейцу:

— Тащи со склада миномет сюда! Скорее! Чтобы через пять минут был здесь.

Повернувшись, я увидел, что Панфилов, прищурившись, смотрит на меня. Это был тот же иронический взгляд, под которым я однажды покраснел.

— Через пять минут, товарищ Момыш-Улы, он не успеет, — сказал генерал.

Панфилов ничего к этому не добавил. Но меня поразило это простенькое замечание.

Сколько раз я, не думая, покрикивал этак: «Через пять минут». А Панфилов думал.

ЛОШАДЬ ЛЫСАНКА И «ЛОШАДИНАЯ ИСТОРИЯ»

1

Настал, наконец, день, когда я, попрощавшись с генералом, отправился принимать батальон. Но перед этим случилась история, которую надо рассказать.

Для поездок по городу я пользовался одной из лошадей штаба дивизии.

Это была Лысанка, красивая, рослая лошадь, в белых чулках, с белым пятном на лбу, очень восприимчивая к поводу.

За полторы недели, что я пробыл в штабе, мне удалось кое-чему выучить Лысанку.

В батальон, уже выведенный за город, в станицу Галгар, за двадцать пять километров от Алма-Аты, я должен был ехать с попутной машиной.

Встав рано, часов в пять, когда в штабе еще стояла тишина, собравшись, я вышел во двор.

Машина запаздывала. Мне захотелось навестить напоследок Лысанку. Пройдя на конюшню, я похлопал, погладил ее. Мягкими губами она тянулась к ладони, привыкнув получать от меня кусочек хлеба или сахар за послушание. Я не дал — не за что... Она стала на месте выделывать испанский шаг передними ногами, как я ее учил. Я улыбнулся, быстро оседлал и вывел.

Пройдясь на Лысанке несколько кругов по двору рысью, я перевел ее на манежный галопчик, потом, о чем-то думая, на испанский шаг.

Было, как я сказал, очень рано. Двор казался пустынным.

Вдруг я услышал:

— Сумеете ли вы, товарищ Момыш-Улы, и в военном искусстве быть таким же мастером?

На крыльце стоял генерал. Сконфуженный, я соскочил.

— Продолжайте, продолжайте, — сказал Панфилов. — Я с удовольствием наблюдаю.

Он подошел.

— Вот, оказывается, что за вами водится... А там, — он показал вдаль, — сумеете так управлять?

Я ответил:

— Знаете, товарищ генерал... Один раз мне уже точь-в-точь это было сказано. То есть не то, чтобы сказано, но...

— Ну-ну...

— Было сделано так, что я целый год переживал...

— Любопытно, любопытно... Расскажите...

Но я уже раскаивался. Черт меня дернул за язык! Зачем я буду отнимать у генерала время историями из своей жизни, которые интересны только мне? Стараясь быть кратким, я сказал, что когда-то, младшим лейтенантом, грубил начальникам, орал на подчиненных, не умел дисциплинировать взвод. На меня налагали взыскания, сажали под арест, а потом вызвал командир полка и прочел странную лекцию об управлении лошадью. Он сказал так: «Знаете ли вы, что такое управление? Пример машиниста на паровозе или водителя автомашины вам, степному человеку, будет малопонятен...» И он стал говорить о лошади. Его лекция подействовала.

— Нет, вы подробнее. Что он вам сказал? — выспрашивал Панфилов.

— Это всем известно, товарищ генерал. Это я знал и без него...

— А все-таки?

— Он говорил о хорошем всаднике. О том, что у хорошего всадника конь может дать свечку, пройтись испанским шагом и даже станцевать... Потом о средствах управления. Это, во-первых, поводья — трензельные и мундштучные, движение мизинчиком — это уже управление...

— Так, так... Любопытно!..

— Сказал, что хороший всадник никогда не двигает всей рукой или даже кистью... Лошадь дергают только свинопасы. Ну и так далее, в таком же роде...

— Нет, нет! Продолжайте. Что еще он говорил?

Панфилов, казалось, был до чрезвычайности заинтересован.

Он улыбался, морщины около глаз играли.

— Говорил о других средствах управления... Перенос точки опоры на спине лошади, незаметный для глаза, тоже управление... А нога всадника? Существует двадцать способов управления одной только шпорой — укол прямой, укол касательный и прочие... Однако хороший всадник редко применяет шпоры. Ему достаточно коснуться лошади икрой, и лошадь уже понимает. Но как этого добиться?

— Так, так... Как добиться?

Интерес Панфилова заразил меня. Я уже говорил увлеченно:

— Да. Как достигнуть, чтобы лошадь моментально выполняла малейшее требование всадника? Самое главное — настойчивость. Не исполнено — накажи, никогда не спускай! Хорошо сделано — поощри! Проделывай это не сто, а тысячу раз. Все это он спокойно изложил и сказал: «Ступайте».

— А вы?

— Сначала я не понял, зачем он меня звал. Повернулся, пошел. А на пороге меня как топором хватило: «Что, человек для него лошадь? Я для него лошадь?!» Хотел вернуться и закричать: «Я вам не лошадь!»

Панфилов расхохотался. Я еще не видел его таким веселым. Достав платок и вытирая заискрившиеся влагой глаза, он сказал:

— Неглупая, очень неглупая история. Значит, дергают только свинопасы?

Смеясь, он погладил Лысанку и спросил:

— Нравится вам, товарищ Момыш-Улы. эта лошадка?

— Очень, товарищ генерал.

— Берите с собой. Это вам подарок... Пусть она будет с вами в батальоне.

— Благодарю, товарищ генерал.

Не дожидаясь машины, я верхом на Лысанке отправился в свой батальон.

2

Мы с вами уже договорились — природу не описывать. Другие это сделают лучше.

Как-нибудь после войны вы приедете летом ко мне в гости: увидите, как хорош Казахстан, опишете окре-

стности Алма-Аты, станицу Талгар и бурную горную речку Талгарку.

В станице я разыскал здание сельскохозяйственного института, где расположился батальон. Познакомился с начальником штаба, худощавым, подвижным казахом Рахимовым, вчерашним агрономом, еще одетым в штатское. На его пиджаке поблескивал значок альпиниста, но мой альпинист не умел ни встать по уставу, ни доложить.

Вместе с ним я обошел помещение. Всюду полным-полно, но в военной форме только я один. Люди бродили по коридорам; в одной комнате пели; из коридора перекликались через окна с женщинами. Никто не скомандовал «Смирно!», никто не приветствовал командира.

Я увидел окурки на полу, тяжело вздохнул и приказал построить батальон.

Строились неумело, долго. Я стоял в стороне, смотрел и думал. Представьте себе этот строй: многие вышли в майках, некоторые — в тапочках, кто посолиднее— в пиджаках. Одни в кепках, другие с непокрытой головой.

Альпинист кое-как подровнял ряды, скомандовал «Смирно!» и уставился на меня, вместо того, чтобы доложить. Я опять вздохнул и подошел к строю.

Поздоровался. Ответили, кто как сумел.

Представившись, я сообщил, что назначен командиром батальона, затем сказал:

— Вы еще носите гражданскую одежду, но Родина уже поставила вас в строй. Некоторые из вас одеты в хорошие костюмы, другие попроще... Вчера вы были людьми разных профессий, разного достатка, вчера среди вас были и рядовые колхозники и директора. С сегодняшнего дня вы бойцы и младшие командиры Рабоче-Крестьянской Красной Армии. А я ваш командир. Я приказываю, вы подчиняетесь. Я диктую свою волю, вы исполняете ее.

Я нарочно говорил очень резко:

— Каждый из вас будет выполнять все, что прикажу я. Вчера вы могли спорить с начальником; вчера вы имели право обсуждать: правильно ли он сказал, законно ли он поступил. С сегодняшнего дня Родина от-

бирает у вас это право. С сегодняшнего дня у вас один закон — приказ командира.

Вижу, некоторые смотрят косо: одним махом всю демократию ликвидировал. Я продолжал:

— Кто придерживается иного мнения, тот может положить его в конверт и, пока мы близко от дома, отослать домой. Воинский порядок суров, но этим держится армия. Хотите отразить врага, который ринулся поработить нашу страну? Знайте: так надо для победы!

Затем кратко сказал о честности, совести и чести. Честность перед Родиной, перед своим правительством, перед командиром — высшее достоинство воина. Честен тот, у кого есть совесть.

— Пусть у тебя есть знания и способности, — говорил я, — пусть у тебя есть ловкость и сноровка, но если ты не имеешь совести, не жди от меня пощады!

И, наконец, честь. Это я объяснил по-своему. Есть две казахские поговорки. Одна говорит: «Заяц умирает от шороха камыша, герой умирает из-за чести». В другой всего три слова: «Честь сильнее смерти».

Я произнес эти поговорки по-казахски и перевел на русский. В батальоне была лишь одна треть казахов, остальные — русские и украинцы.

Когда я закончил, из строя раздался смелый голос:

— Товарищ комбат, разрешите сказать...

На полшага из шеренги выдвинулся дюжий парень с завидным румянцем, в легкой черной рубашке.

— Не разрешаю, — сказал я. — Здесь не митинг. Командиры рот, развести подразделения!

Такова была моя первая речь, первое знакомство с батальоном.

3

Я шел коридором в приготовленную для меня комнату.

— Товарищ комбат! Разрешите сказать?

Передо мной стоял он же — тот, кто первый назвал меня комбатом. Волосы, еще не снятые машинкой, на затылке были подстрижены наголо, а из-под кепки курчавился чуб.

— Как фамилия? — спросил я.

— Боец Курбатов.

Он держался по-военному, вытянувшись в стойке «смирно».

— В армии служил?

— Нет, товарищ комбат. Служил в железнодорожной военизированной охране.

— Вот, товарищ Курбатов: прежде чем обратиться к комбату, надо иметь на это разрешение командира роты. Ступайте к нему.

— Он, товарищ комбат, не принимает во внимание... Я насчет охраны.... Задняя дверь, товарищ комбат, не охраняется... Калитка тоже. А вдруг, товарищ комбат...

«Молодец!»— подумалось мне. Мне нравились его порыв, его настойчивость, открытый взгляд, развернутые плечи, но я произнес иное:

— Кру-гом!

Курбатов вспыхнул. Взгляд стал пристальным, недобрым. Я понимал его, но тоже смотрел пристально. Мгновение поколебавшись, Курбатов по-солдатски повернулся и зашагал по коридору. Даже покрасневшая шея казалась оскорбленной.

Я сказал Рахимову, который был возле:

— Товарищ начальник штаба, бойца Курбатова назначьте командиром отделения.

Сзади меня кто-то тронул. Обернувшись, я заметил неуверенно отдернутую руку.

— А я к своему командиру обращался. Он сказал: к вам, товарищ комбат...

Я увидел человека в очках. Это была первая встреча с Муриным. В пиджаке, с галстуком, немного съехавшим набок, он говорил, улыбаясь, и не зная, куда девать руки. Тонкие кисти и бледное удлиненное лицо почти не загорели, несмотря на то, что стоял июль.

— Я нестроевик, товарищ комбат, а попросился в батальон, — объявил он с гордостью. — Я доказал, что в очках у меня полная коррекция. Вон на потолке — посмотрите, товарищ комбат, — муха! Я ее ясно вижу.

— Хорошо, товарищ, убедился. Дальше.

— Но и в батальоне, товарищ комбат, меня зачислили в нестроевые. Дали лошадь и повозку. А я абсолютно не имею понятия, что такое лошадь. И не для этого я шел. Я прошусь, товарищ комбат, в строй. Хочется, товарищ комбат, пулеметчиком!

Узнав фамилию, я сказал:

— Это можно, товарищ Мурин. Переведу. Идите.

Но он, казалось, не был уверен, что дело на этом кончено. Ему не терпелось привести дополнительные доводы.

— Я слышал вашу речь, товарищ комбат. Это совершенно правильно. Каждый ваш приказ, товарищ комбат, будет для меня законом.

— Идите, — повторил я.

Он взглянул с удивлением и как ни в чем не бывало продолжал:

— Я, товарищ комбат, музыкант. Аспирант консерватории Но теперь, товарищ комбат, все должны стрелять!

Для убедительности он повертел пальцами.

Я крикнул:

— Как вы стоите? Руки!

Мурин оторопело вытянулся.

— Я два раза сказал вам — идите! А вы? Вам кажется, что вы проситесь на самое трудное — стрелять. Нет, товарищ Мурин, самое трудное, самое тяжелое в армии — подчиняться!

Мурин открыл было рот, желая что-то возразить, но я продолжал:

— Вам множество раз покажется, что командир несправедлив, вы хотите поспорить, а вам крикнут: молчать! Я вам это обещаю. Идите.

Мурин отошел.

4

В этот день я познакомился с командирами рот и взводов, составлял строевое расписание, занимался караулами, связью, хозяйством и лишь поздно вечером остался один

Достав из полевой сумки Боевой устав пехоты, которым меня снабдили в штабе, я принялся читать, потом отодвинул его и стал думать.

Идет Великая Отечественная война. Гитлеровцы с каждым днем все глубже врезаются в нашу территорию. Сейчас, месяц спустя после вторжения, они уже добрались до Смоленска, перешагнули Днепр и, судя по карте, стремятся быстро захватить Ленинград, Москву и Донбасс. Их ставка, тактика и вера — молниеносность. Они рассчитывают покончить с нами прежде, чем мы развернем резервы.

Когда же Генеральный штаб Красной Армии вызовет на фронт нашу дивизию? Сколько дней, сколько недель нам будет дано для обучения?

События развиваются столь быстро, обстановка на фронте столь напряженна, что Верховное Главнокомандование может оказаться вынужденным послать нас в бой через три-четыре недели.

Как в такой неимоверно сокращенный срок превратить семь сотен людей, неспокойно спящих сейчас под этой крышей, с домашними котомками под нестрижеными головами, здоровых, честных, преданных Родине, но не военных, не вышколенных армейской дисциплиной, —как превратить их в боевую силу, способную устоять перед врагом и стать страшной для него?

Вам, может быть, покажется странным, но в эту ночь, когда я думал о великой войне, о фронте, куда скоро отправлюсь с батальоном, думал о жизни и смерти, о самом большом, самом главном, на чем не часто сосредоточивается мысль, мне вспомнилась «лошадиная история». Генерал Панфилов хохотал, выслушав ее, я смеялся вместе с ним, а между тем...

Вспомнилось, как меня, вольного казаха, степного коня, не выносящего узды, делали солдатом. Тяжело, невыносимо тяжело дались мне первые месяцы в армии. Мне казалось унизительным: подходить к командиру бегом, стоять перед ним смирно, выслушивать повелительное и краткое: «Без разговоров! Кругом!» Внутри все бунтовало: «Почему без разговоров? Что я ему, раб? Что я, не такой же человек, как он?»

И не только внутри. Я бледнел и краснел, дерзил, не покорялся.

Знаете, как в конце концов со мной поступили? Отправили на командные курсы, самого сделали средним командиром — офицером Красной Армии.

Постепенно я уразумел абсолютную необходимость беспрекословного подчинения воле командира.

На этом зиждется армия. Без этого люди, даже пламенно любящие Родину, не будут побеждать в бою.

Но как этого добиться поскорей? Ведь в нашем распоряжении лишь считанные дни, немногие недели... Как в такой срок создать дисциплинированную, обученную, страшную для врага силу, имя которой батальон?

ТАБАЧНЫЙ МАРШ

1

Не буду во всех подробностях рассказывать, как шла подготовка бойцов.

Опишу лишь один марш, который в батальонных сказаниях, пока не записанных никем, назван «табачным маршем».

Минуло семь-восемь дней, как я принял батальон. Мы были уже обмундированы и вооружены; уже работали с винтовкой, окапывались, перебегали, ползали, маршировали.

Однажды вечером мы получили приказ: выступить с рассветом в пятидесятикилометровый марш, достичь одной отметки в долине реки, заночевать там и к исходу следующего дня, вновь проделав те же пятьдесят километров, вернуться в Талгар. Столь же тяжелые маршруты были даны и другим батальонам — генерал Панфилов втягивал дивизию в переходы.

Люди с вечера готовились к маршу, ночью отдыхали, а на зорьке, когда еще не выкатилось солнце, батальон был выстроен.

Вам, не побывавшему солдатом, наверное, показалось бы, что перед вами грозная воинская часть: ряды хорошо выровнены; на винтовках поблескивают новенькие штыки; бойцы, как один, в полном походном снаряжении; как один — в скатках, с противогазами, с саперными лопатками в зеленоватых невыцветших чехлах, со стальными касками, притороченными к вещевым мешкам; на поясных ремнях, слегка оттягивая их, висят гранаты и подсумки с боевыми патронами — по сто двадцать на бойца. Слегка оттягивая... А у многих и не слегка — глаз сразу отметил это. Я увидел нетуго свернутые, разбухшие скатки; вещевые мешки с неподтянутыми лямками; гранатные сумки, свисающие на живот. Лишь немногие выделялись настоящей солдатской подгонкой. Среди таких был Курбатов.

Вызвав Курбатова из строя, я сказал:

— Товарищи! Вот младший командир, который подготовил снаряжение для марша, как положено солдату; на марше ему будет легче, чем другим. Посмотрите, как у него все прилажено, как подтянут у него ремень! Я двадцать раз объяснял вам это, показывал, но вы

все-таки не понимаете. Наверное, мой язык недостаточно остер. Больше говорить я не буду, а предоставлю слово вашей скатке, вашей лопате, вещевому мешку. Пусть они поговорят с вами. Думаете, у них нет языка? Есть! И поострей, чем у меня! Боец Гаркуша, ко мне!

Подбежал всегда улыбающийся курносый Гаркуша. Гранатная сумка сползла у него наперед, и болталась на ходу.

— К маршу готов?

— Готов, товарищ комбат.

— Становись рядом с Курбатовым. Боец Голубцов, ко мне!

У Голубцова скатка была так толста, что налезала на щеку. Вещевой мешок лежал не на спине, а на мягком месте.

— К маршу готов?

— Готов, товарищ комбат.

— Становись рядом с Гаркушей.

Набрав таким образом человек десять, на которых все особенно обвисло, я поставил их в голове колонны.

— Батальон, смирно! Напра-во! За мной, шагом марш!

Мы двинулись.

Я пошел рядом с теми, кого вызывал, кося на них глазом. Минут десять-пятнадцать они шагали легко. Гранатная сумка все время чуть-чуть постукивала Гаркушу между ног. Наконец, к сумке потянулась рука, чтобы сдвинуть.

Голубцову захотелось оттолкнуть скатку — грубый шинельный ворс стал натирать шею.

Третьего саперная лопатка ударяла по ноге.

Они на ходу поправляли: это не помогало.

Еще через десять минут Гаркуша перегнулся назад и выпятил живот, чтобы сумка не болталась. Поймав мой взгляд, он через силу улыбнулся. Голубцов, вертя шеей, старался лицом отпихнуть скатку. Ему стал досаждать и вещевой мешок. Сунув руку под лямку, Голубцов хотел незаметно подтянуть мешок вверх. А Гаркуша уже не выпячивал живота. Он шел, скособочившись и замедляя шаг.

Я приказал:

— Гаркуша! Шире шаг! От Курбатова не отставать!

Проклятая сумка опять стала ударять.

Так мы прошли шесть километров. Я опять показал бойцам Курбатова, потом крикнул:

— Гаркуша, ко мне!

Он подбежал согнувшись. В строю засмеялись.

— Ну, Гаркуша, докладывай. К маршу готов?

Он мрачно молчал.

— С гранатной сумкой говорил?

— Говорил...

— Ну, расскажи бойцам, что она тебе сказала.

Он молчал.

— Расскажи, не стесняйся!

— Чего им рассказывать? Наш брат словам не верит, дай, скажет, пощупать.

— Ну, пощупал?

— Я-то ее не щупал, а вот она...

Тут Гаркуша отмочил такое, чего не пишут на бумаге. Бойцы хохотали. Отведя душу, смеялся и он.

Я подозвал Голубцова — вспотевшего, с натертой докрасна шеей.

— Посмотрите-ка, товарищи, теперь на этого. С тобой скатка побеседовала? Вещевой мешок беседовал? Расскажи, чему они тебя учили?

Заставил и Голубцова говорить перед бойцами. Так, одного за другим, продемонстрировал всех, кого особенно помучили вещи. Потом сказал:

— Кому тяжело идти, когда толста скатка, когда гранатная сумка не на месте, вещевой мешок не на месте? Бойцу или командиру батальона? Бойцу! Я двадцать раз это объяснял, но вы, наверное, думали: «Ладно, сделаем для него, чтобы не приставал!» И делали кое-как. А оказалось, не «для него», а для себя. Некоторым вещи уже втолковали это. Сейчас, на привале, пусть каждый заново подгонит снаряжение. Если увижу, что и теперь кто-нибудь меня не понял, того вызову из строя — пусть при мне побеседует с вещами, пусть убедится, что у них язык поострей, чем у меня.

После этого привала мне уже не пришлось никого вытаскивать из строя. Никто не захотел беседовать с вещами.

2

Батальон опять двинулся.

Пятьдесят километров по июльскому солнцу — нелегкая дистанция, особенно для людей, не втянутых в походы.

Смотрю, роты растягиваются, кое-кто начинает отставать. Сделал замечание командирам. Через некоторое время проверяю строй вновь. Замечания не помогли, колонна растягивается все длиннее. Поговорил с командирами резче. Опять не подействовало. Командиры сами устали, некоторые ковыляли.

Я выехал вперед и крикнул:

— Передайте по колонне: командира пулеметной роты в голову колонны!

Через четверть часа прибежал, запыхавшись, длинногий Краев:

— Товарищ комбат, явился по вашему приказу!

— Почему ваша рота растянулась? Когда будете соблюдать дистанцию? Пока не наведете порядка, до тех пор буду вызывать в голову колонны. Все. Идите!

А ведь бежать в обгон батальонной колонны не легко: это почти километр.

Потом таким же манером вызвал командира второй роты Севрюкова. Это был пожилой человек, до войны главный бухгалтер табачной фабрики в Алма-Ате. Нагнав меня, он не сразу отдышался.

Выслушав, Севрюков сказал:

— Людям, товарищ комбат, очень тяжело. Нельзя ли сложить часть груза на повозки?

Я ответил:

— Выбейте эту дурь из головы!

— Но тогда как же, товарищ комбат, быть с отстающими? Как заставить, если человек не может?

— Чего не может? Выполнить приказ?

Севрюков промолчал.

По одному разу все командиры рот побывали у меня.

Но для Севрюкова оказалась недостаточной первая прогонка. В хвосте его роты тащились отстающие.

Я посмотрел на него — сорокалетнего, усталого, шагающего впереди роты. С седоватых, аккуратно подстриженных висков по запыленному лицу скатывались

струйки пота. Неужели надо заставлять его еще раз бежать? Ведь ему так трудно это! Но как быть?

Он жалеет людей, я пожалею его, а потом... Что будет с нами потом, в боях?

Я послал лошадь рысью и, выехав вперед, крикнул:

— Командира второй роты в голову колонны!

На этот раз помогло.

Вновь пропуская строй, я видел: Севрюков шел уже не впереди, а позади роты. Он выглядел злее, энергичнее, и даже голос изменился: ко мне донесся резкий командирский окрик.

Вся колонна подтянулась, обозначились четкие просветы между взводами, никто не отставал.

Так мы и пришли на место, покрыв пятьдесят километров без единого отставшего.

Но люди устали. После команды «Разойтись!» все пластом повалились на траву. Все думали: скоро раздадут обед, поедим — и спать.

Но не тут-то было.

3

На марше с нами следовало, как положено, несколько походных кухонь. Однако когда мы пришли к месту ночевки, я приказал дров для кухонь не готовить, продукты в котлы не закладывать, а раздать продукты сырыми на руки бойцам по установленной красноармейской норме: мяса — столько-то граммов, крупы — столько-то, жира — столько-то и так далее.

У командиров, у бойцов — глаза на лоб. Ведь все сырое, что с этим делать? Многие во всю жизнь никогда не стряпали, не знали, как сварить суп. Поднялся шум:

— У нас есть кухни! Нам обязаны варить обед в кухнях.

Я гаркнул:

— Замолчать! Исполнять, что сказано! Пусть каждый боец сам себе готовит ужин!

И вот в широкой казахстанской степи, на берегу реки Или, запылало множество костров. Некоторые мои бойцы были так утомлены, так раскисли, что не стали варить, а повалились спать голодными. У некоторых подгорела каша, ушел суп — они больше испор-

тили, чем съели. Для них это был первый урок кулинарии.

Утром я опять велел не разжигать кухонь, а раздать паек на руки бойцам.

Затем, после завтрака, батальон был построен, и я обратился с речью к бойцам. Она была примерно такова:

— Первое: вы, товарищи, недовольны, что марш такой длинный, такой тяжелый. Это сделано нарочно. Нам предстоит воевать, предстоит пройти не пятьдесят и не сто, а много сотен километров. На войне, чтобы обмануть врага, чтобы нанести ему неожиданный удар, придется совершать марши подлиннее и потяжелее, чем этот. Это цветики, а ягодки будут впереди. Так закалял своих солдат, прозванных чудо-богатырями, прославленный русский полководец Александр Васильевич Суворов. Он оставил нам завет: «Тяжело в ученье — легко в бою!» Хотите драться по-суворовски? Кто не хочет — два шага вперед!

Из строя никто не вышел. Я продолжал:

— Второе: вы недовольны, что при наличии кухонь вам выдали сырое мясо и заставили усталых варить в котелках суп. Это тоже сделано нарочно. Вы думаете, что в бою кухня будет всегда у вас под боком? Ошибаетесь! В бою кухни будут отрываться, отставать. Выпадут дни, когда вы будете голодать. Все слышите? Будете голодать, будете сидеть без курева — это я вам обещаю. Такова война, такова жизнь солдата. Иной раз сыт по горло, а иной раз в желудке пусто. Терпи, но не теряй воинскую честь! Голову держи вот так! Каждый должен уметь готовить. Какой из тебя солдат, какой из тебя воин, если ты не умеешь сварить себе похлебку? Я знаю, некоторые из вас никогда сами не готовили. Знаю, многие вечерком приходили в ресторан и кричали: «Эй, официант, сюда! Кружку пива и бифштекс по-гамбургски!» И вдруг вместо бифштекса — поход на пятьдесят километров, да еще тащи на себе два пуда солдатской поклажи, да еще вари похлебку в котелке! Когда варили, вы ненавидели меня. Верно?

Раздались голоса: «Верно, товарищ комбат! Верно!»

Между мною и бойцами пробежала искорка, заструился ток. Я понимал их, они понимали комбата.

4

Мы отправились в обратный путь.

К нашему лагерю, в Талгар, вело прекрасное гравийное шоссе. По такому шоссе легко идти.

Легко? Значит, к черту шоссе, дальше от шоссе! Разве на войне мы будем ходить по гравию?

Я приказал вести людей не по шоссе, а взять на сто-двести метров в сторону. По пути камни — иди по камням; по пути овраг — пересекай; по пути песок — шагай! Стоял безветренный день. Нещадно жарило солнце. Воздух казался струящимся. Это бывает: с накаленной, как печка, земли бегут вверх прозрачные струйки.

Я знал: людям трудно, но знал и другое: так нужно для войны, так нужно для победы.

На склоне, обжигаемом солнцем, встретилось большое табачное поле. Бойцы пошли по тропинке через поле. Табак — казахстанская махорка — высился в рост человека. Ни одно дуновение не колебало широких пахучих, распаренных солнцем листьев.

Бойцы шли. И вдруг, когда половина поля была пройдена, когда батальон втянулся в табачные заросли, люди начали падать.

Что такое? Валится один, другой, десятый... Я испугался. Нас словно настигла страшная, мгновенно действующая эпидемия. Люди падают без стона и лежат как мертвые.

Быстро разгрузили повозки, сняли пулеметы, минометы, боеприпасы и кое-как вывезли упавших на бугор, к арыку. Там, далеко от табачных испарений, люди очнулись.

Но батальона уже не было, роты перемешались. Бойцы сидели и лежали, стонали, смачивая головы водой; некоторых рвало.

Я увидел нашего фельдшера, голубоглазого старика Киреева, человека добрейшего сердца. Он хлопотал, раздавая порошки. Ему помогал политрук Бозжанов. Раздобыв ведерко, Бозжанов таскал воду из арыка и ходил с фельдшером, поднося воду лежавшим.

В этой группе никто не встал, когда подошел я — комбат.

— Встать! — скомандовал я.

Лишь некоторые исполнили команду. Охая, поднялся Курбатов.

— Курбатов, ты?

— Ох, я, товарищ комбат...

Неужели, это он, которым я гордился, которого показывал бойцам? Э, как его скрутило!

— Чего раскис? Как стоишь перед командиром?

Курбатов сделал усилие, выпрямился, развернул грудь и встал, как положено стоять бойцу.

Я подошел к другому:

— Почему не встаешь? Встать! Где винтовка?

— Ох, товарищ комбат... Не знаю, товарищ комбат.

— Как стоишь? Сейчас же явись ко мне с винтовкой!

— Как же я найду? Я и ходить-то...

— Исполнять приказ!

— Сейчас, товарищ комбат... Очки где-то потерял...

А, Мурин! На длинном носу появились запасные очки. Мурин, ковыляя, побрел отыскивать винтовку.

Я приказал командирам выстроить роты на шоссе для продолжения марша.

Через четверть часа выстроились. Я выехал к батальону. Как плохо стоят! Головы понурены, глаза замутнены, многие по-стариковски оперлись на винтовки.

— Батальон, смирно! На пле-ечо! Шагом марш!

Роты двинулись. Но люди еле шли — не в ногу, не ровняясь; некоторые прихрамывали, не шли, а тащились. Нет, так мы не дойдем!

Обогнав колонну, я крикнул:

— Стой! — Затем объявил бойцам: — Отсюда до того дерева вы должны пройти строевым шагом! Пока не промаршируем, до тех пор не сойдем с этого места. Первая рота, ровняйсь!

Знаете ли вы, что такое строевой шаг? Парад на Красной площади. Все враз поднимают ноги и с силой ставят их всей ступней — печатают шаг.

До дерева было метров двести.

Пошла первая рота.

— Плохо! Отставить! Назад!

Рота вернулась и пошла снова.

— Опять плохо! Отставить! Назад!

Я злился, но разозлились и они.

Пошли третий раз. Ну и дали шаг. Так отстукивали,

так ударяли ступней, что невольно подумалось: не разобьют ли шоссе?

Еще минуту назад я ненавидел раскисших людей, они злились на меня — вдруг в душу хлынула любовь...

— Молодцы! Молодцы!

У меня радостно вырвалось это.

— Служим Советскому Союзу! — под левую ногу прокричала рота.

И подошвы тяжелых солдатских ботинок еще крепче ударяли все враз.

Мужественные, сильные, они шагали, как на Красной площади.

Так я пропустил все роты. Вторую и третью тоже пришлось возвращать, пока не промаршировали строевым шагом двести метров.

Последней проходила пулеметная рота. Бойцы с места взяли ногу. В первой шеренге шагал длинный Мурин. Он изо всей силы ударял ступней; правая рука, словно под музыку, отбивала такт; очки сияли; на лице написано истинное удовольствие.

5

Близ Талгара к нам на малорослом уральском маштачке подъехал генерал Панфилов. Он встречал возвращающиеся батальоны.

Все подтянулись, увидев генерала; роты по команде опять дали строевой шаг. У усталых, но марширующих в ногу бойцов опять были гордо вскинуты головы: вот каковы мы!

Панфилов улыбнулся. От маленьких глаз по загорелой, словно прожаренной, коже побежали мелкие морщинки. Привстав на стременах, он крикнул:

— Хорошо идете! Спасибо, товарищи, за службу!

— Служим Советскому Союзу!

Батальон гаркнул так, что маштачок шарахнулся. Панфилов невольно подхватил повод, покачал головой и засмеялся.

Теперь и я прокричал эти слова вместе с бойцами. Я отвечал не только генералу. Я мог бы любому бойцу, любому командиру, собственной совести — всякому, кто вслух или безмолвно спросил бы меня: «Зачем ты так

суров?» — с гордостью ответить точно так же: «Служу Советскому Союзу!»

Мы вернулись в срок.

Я оглядел роты, выстроившиеся вокруг меня четырехугольником. Красноармейцы стояли осунувшиеся, почерневшие, сбросившие лишний жирок, в пропотевших пилотках, в тяжелых запыленных ботинках, с винтовками, взятыми к ноге. Они измучились: у них гудели ноги. Сейчас им хотелось лишь одного — прилечь, но они терпеливо ждали команды; они не наваливались по-стариковски на винтовки и, встречая взгляд командира, расправляли плечи.

Это были уже не те, что впервые выстроились здесь — в кепках, пиджаках и майках — неделю назад; не те, что в новеньком, неумело пригнанном походном снаряжении выходили на рассвете в первый большой переход, — теперь это были солдаты, с честью выдержавшие первое воинское испытание.

«ПЛОХО, ТОВАРИЩ МОМЫШ-УЛЫ!»

1

Хотелось бы рассказать еще многое о том, как мы готовили себя к боям, как приезжал в батальон генерал Панфилов, как он беседовал с бойцами, как повторял и им и мне: «Победа куется до боя».

Но... минуем все это.

К нам подошло, наконец, то, ради чего мы взяли винтовки, ради чего учились ремеслу солдата, ради чего в армии стоят перед командиром «смирно» и, никогда не прекословя, повинуются ему. К нам подошло то, что зовется боем.

Прибыв под Москву, мы заняли рубеж близ Волоколамска. К этой линии тринадцатого октября вышел противник — моторизованная, вышколенная разбойничья армия, прорвавшая далеко на западе наш фронт, совершающая бросок к Москве — последний, как казалось немцам, бросок «молниеносной» войны.

В этот же день, тринадцатого, когда разведка впервые донесла, что перед нами немцы, в батальон, как вы знаете, приехал генерал Панфилов.

Выпив два стакана крепкого чая, Панфилов взглянул на часы и сказал:

— Спасибо, товарищ Момыш-Улы. Хватит. Пойдемте на рубеж.

Мы вышли. Неподалеку, на опушке, генерала ждала машина. Задние колеса были туго обмотаны цепями; в стальные звенья набился потемневший спрессованный снег.

Вокруг все было в снегу. Этими днями установилась санная погода. Чуть подмораживало. С неба, заволоченного облаками, исчезло светящееся белесое пятно, за которым среди дня угадывалось солнце; на горизонте проступили скупые желтоватые тона. Но в снежной белизне вечер казался светлым.

Через пять минут мы были в расположении второй роты.

Легко спрыгивая в траншеи, Панфилов залезал под накаты, разглядывал сквозь прорези даль, проверяя сектор обстрела; пробовал, беря винтовку и прикладываясь, удобно ли стрелять, задавал бойцам обыденные вопросы: «Как кормят?», «Хватает ли махорки?». Отвечая, на него смотрели ждущими глазами.

По окопам пронеслась весть, принесенная разведчиками: перед нами немцы. Панфилов разговаривал, шутил, но взгляды оставались ожидающими — бойцы, казалось, ждали: вот-вот генерал произнесет какое-то особенное слово, которое надо знать в бою, от которого вражья сила станет не страшна.

Побывав в нескольких окопах, Панфилов молча шел по берегу темной, незамерзшей Рузы. Он смотрел вниз, как всегда, когда задумывался.

К генералу подбежал, поправляя на ходу шапку, из-под которой выглядывали аккуратно подбритые седоватые виски, командир роты Севрюков. За ним, держа дистанцию в три-четыре шага, не отставая и не нагоняя, бежало несколько красноармейцев.

Выслушав рапорт, Панфилов спросил:

— А это что у вас за свита?

— Мои связные, товарищ генерал.

— Так везде и бегают за вами?

— А как же, товарищ генерал, вдруг что-нибудь...

— Хорошо, очень хорошо. И окопы у вас, товарищ Севрюков, построены толково.

Немолодое лицо бывшего главного бухгалтера покраснело от удовольствия.

— Я подумал так, товарищ генерал,—рассудительно заговорил он, — вдруг вы пожелаете собрать роту, побеседовать. А связные тут как тут. Это, товарищ генерал, скороходы. Прикажите, товарищ генерал, и через десять минут рота будет здесь.

Панфилов достал часы, взглянул, подумал.

— Через десять минут? Здесь?

— Да, товарищ генерал.

— Хорошо, очень хорошо... А скажите, товарищ Севрюков, через сколько минут вы могли бы сосредоточить роту там?

Быстро повернувшись, Панфилов указал на другой берег Рузы.

— Там? — переспросил Севрюков.

— Да.

Севрюков посмотрел на указательный палец генерала, затем на точку, к которой вела от пальца воображаемая прямая линия. Было еще достаточно светло, чтобы ясно разглядеть: палец показывал лес на противоположном берегу.

Но Севрюков все-таки спросил:

— На ту сторону?

— Да, да, на ту сторону, товарищ Севрюков.

Севрюков посмотрел на черную воду, повернул голову туда, где в полутора километрах находился скрытый за выступом берега мост, достал платок, неловко высморкался и опять уставился на воду.

Панфилов молча ждал.

— Я не знаю... Через брод, товарищ генерал? Там в середине выше пояса. Намочу людей, товарищ генерал.

— Нет, зачем мочить? Не лего... Давайте как-нибудь немочеными будем воевать. Ну, товарищ Севрюков, через сколько же минут?

— Не знаю.. Тут будут не минуты, товарищ генерал.

Панфилов обернулся ко мне.

— Плохо, товарищ Момыш-Улы! — отчетливо проговорил он.

Впервые генерал Панфилов сказал мне «плохо». Этого не случалось раньше, этого не бывало и потом, во время боев под Москвой.

— Плохо! — повторил он. — Почему не подготовлены переходные мостики? Почему нет плотов, лодок? Вы зарылись в землю, зарылись грамотно, толково. Теперь

вы только ждете, когда вас стукнет немец. Это уже бестолково. А что, если будет выгоден встречный удар? Что, если вам самим представится возможность стукнуть? Вы к этому готовы? Противник сейчас обнаглел, самоуверен, этим надо пользоваться. У вас, товарищ Момыш-Улы, это не продумано.

Он говорил сурово, без обычной мягкости, ничем на этот раз не сглаживая резкости. Став «смирно», покраснев, я выслушал выговор.

2

Генерал опять обратился к Севрюкову:

— Значит, товарищ Севрюков, не сумеете быстро там сосредоточиться? Плохо! Поразмыслите об этом. А фланговое перестроение сколько времени у вас займет?

— Фланговое перестроение? Какую занять линию, товарищ генерал?

Панфилов указал на опушку, где был скрыт командный пункт батальона, откуда, перерезав белое поле колеей, уже неразличимой в сумерках, нас доставила сюда машина.

— Вот вам линия, товарищ Севрюков: от леса и до берега. Задача — прикрыть батальон с фланга.

Севрюков подумал:

— Пятнадцать-двадцать минут, товарищ генерал.

Панфилов оживился:

— Не сочиняете ли? Ну-ка, ну-ка... Командуйте, товарищ Севрюков. Засекаю время.

Севрюков козырнул, повернулся и, не торопясь, пошел к связным. С полминуты он молча оглядывал местность. Я кричал ему взглядом: «Чего мнешься? Не будь мямлей! Скорее, скорее!» И вдруг услышал хрипловатый шепот:

— Молодец, думает!

Панфилов с улыбкой шепнул мне это. Лицо перестало быть строгим. Он с любопытством следил за Севрюковым.

А Севрюков уже указывал связным ориентиры. Мы услышали:

— Пулеметный взвод прикрывает, потом отходит последним... Муратов, бегом!

Панфилов, не удержавшись, кивнул. Сорокалетний

лейтенант, бывший главный бухгалтер табачной фабрики в Алма-Ате, ему явно нравился.

А Муратов, маленький крепыш-татарин, уже мчался по берегу, выбрасывая сапогами комья снега. За ним ринулся еще один, в другую сторону — третий. К лесу побежал высокий Белвицкий, до войны студент педагогического техникума. Он стал маяком на линии, которую наметил генерал. У меня мелькнуло: «Ошибка! Под обстрелом так не простоишь!» Но Севрюков уже яростно махал ему рукой, показывая, чтобы пригнулся. Белвицкий не понимал. Севрюков сам присел, и тот догадался.

А в сгущающихся сумерках, показалась, наконец, первая бегущая к лесу цепочка. Я распознал могучую фигуру Галлиулина, согнувшегося на бегу под телом пулемета, но даже и теперь возвышающегося над другими.

Пулеметный взвод залег.

Минуя его, к опушке неслись стрелки с едва различимыми отсюда черточками взятых наперевес винтовок. Вот они уже падают в снег — на белом поле появляется темный пунктир новой оборонительной линии.

Мне казалось: часы, которые держал, изредка поглядывая на них, Панфилов, будто отстукивают во мне. Каждый удар выбивал: «Хорошо, хорошо, хорошо!» Поймете ли вы меня? Ведь это же был мой батальон, мое творение, куда я вложил все, чем обладал; батальон, о котором по уставу мне положено говорить: «я». И вдруг опять подумалось: «А сумеем ли мы так сманеврировать под обстрелом, когда над полем будут проноситься пули, когда с грохотом будут рваться снаряды и мины? Что, если тогда кто-нибудь панически крикнет: «Окружают!» — и кинется в лес? Что, если от него заразятся и бросятся за ним другие? Нет, нет! Такого на месте уничтожат командиры, такого пристрелят сами бойцы!» А часы — или сердце — отстукивали: «А уверен ли ты? А уверен ли ты?» Стиснув зубы, я отвечал: «Уверен, уверен, уверен!».

Бойцы уже пробегали подле нас и ложились неподалеку, сразу пуская в ход саперные лопатки и насыпая перед собой холмики снега. К Севрюкову вернулись его скороходы.

Над полем, уже подернутым фиолетовыми тонами, опять появился силуэт Галлиулина с телом пулемета на богатырской спине. Пулеметный взвод, прикрывший перестраивающуюся роту, отходил, занимая место в ряду. Теперь бежал кто-то один, отставший. Севрюков следил за ним взглядом. Дождавшись, когда и этот плюхнулся в снег, Севрюков подошел к Панфилову.

— Товарищ генерал! Согласно вашему приказанию рота произвела фланговое перестроение. Занята указанная вами линия обороны.

Панфилов, сощурившись, вглядывался в часы.

— Чудесно! — воскликнул он. — Восемнадцать с половиной минут. Отлично, товарищ Севрюков! Отлично, товарищ Момыш-Улы! Теперь не уйду, пока не скажу бойцам «спасибо». Ежели с таким народом мы немцев бить не будем, тогда куда же мы годны? Каких бойцов нам еще надо? Давайте-ка роту сюда, товарищ Севрюков.

Опять понеслись гонцы, и скоро взводными колоннами, бегом, рота собралась возле генерала. Севрюков выровнял строй, скомандовал: «Смирно!» — и доложил генералу. В сгустившейся темноте лица стали невидимы, но контуры строя были резко обозначены.

Панфилов не любил произносить речей, он обычно предпочитал беседовать с сидящими вокруг бойцами, но на этот раз обратился к роте со словом — правда, очень кратким, занявшим всего две-три минуты.

Не удерживая радости, он похвалил бойцов.

— Как старый солдат, скажу вам, товарищи, — негромко говорил он, — с такими бойцами генералу ничто не страшно.

Даже не видя лица, по голосу можно было угадать, что он улыбается. Помолчав, он спросил, словно обращаясь к самому себе:

— Что такое боец? Боец всем подчиняется, перед каждым командиром стоит «смирно», исполняет приказания. Это нижний чин, как говорилось раньше. Но что такое приказ без бойца? Это мысль, игра ума, мечта. Самый лучший, самый умный приказ так и останется мечтой, фантазией, если плохо подготовлен боец. Боеготовность армии, товарищи, это прежде всего боеготовность солдата. Боец на войне — решающая сила.

Я чувствовал, с каким вниманием слушают Панфилова.

— Когда роты действуют так, как только что действовали вы, так исполняют приказ, то... то не видать немцу Москвы. Спасибо, товарищи, за отличную боевую подготовку! Спасибо за службу!

Над полем громыхнуло:

— Служим Советскому Союзу!

И стало опять очень тихо.

— Спасибо, товарищ Севрюков, — сказал генерал, пожимая руку командиру роты. — С такими орлами и я орел!

В тишине это услышали все. И опять по голосу можно было угадать, что Панфилов улыбается. А бойцы? Улыбались ли? Ведь бывает же иногда так, что улыбка чувствуется сквозь темноту и сквозь безмолвие, но в том-то и была моя беда, мое мучение, что в этот вечер, после выговора, терзавшего меня, я не ощущал чудесного чувства слитности с бойцами, о котором я вам рассказывал, которое не раз, как награда, как счастье, приходило ко мне. Я не видел лиц. Может быть, люди улыбались, а может быть, все еще томились, все еще были невеселыми, все еще ожидали от генерала какого-то особенного слова, — слова, которое помогает в бою, не сознавая, что слово это уже сказано.

Я не слышал дыхания роты, не видел ее лица. Это тоже, вместе с выговором, было наказанием за какую-то большую ошибку. В чем она?

Я перебирал в уме резкие слова генерала. «Даже и мысли об этом я не вижу», — сказал он, указывая стрелкой удар по врагу. Мысли! Да, что-то мною недодумано, что-то мною недоделано. И не только в расположении минных полей, в переправочных средствах, но и в душах бойцов. Но что именно? Эх, победа, одна победа в бою — вот что надобно нам!

Я проводил генерала до машины.

— Потщательнее ведите разведку, — говорил он, ступив на подножку. — Посылайте и посылайте людей вперед. Не надо им все время, скрючившись, сидеть в земле, пусть повидают немцев перед боем.

Он подал на прощание руку и, задержав мою в своей, продолжал:

— Знаете, товарищ Момыш-Улы, что еще не хватает батальону? Один раз поколотить немцев!

Я вздрогнул. Это было как раз то, чего и я страстно желал.

— Тогда, товарищ Момыш-Улы, это будет не батальон, нет, это будет булат! Вы знаете, что такое булат? Узорчатая сталь, сталь с таким узором, который ничто в мире не сотрет. Вы поняли меня?

— Да, аксакал.

Я сам не знаю, как вырвалось у меня это слово. Я назвал Панфилова так, как Бозжанов называл меня, как мы, казахи, обращаемся к старшему в роде, к отцу.

Я ощутил его рукопожатие.

Не ждите, а ищите случая. И как подвернется — бейте! Рассчитайте — и бейте! Обдумайте это, товарищ Момыш-Улы.

И он снова спросил, подавшись ко мне, желая яснее видеть меня в полумраке:

— Вы поняли меня?

— Да, товарищ генерал.

Панфилов двумя руками, по-казахски, пожал мою руку. Это была ласка.

За ним захлопнулась дверца. С горевшими вполсвета фарами машина двинулась по снежному полю. А я стоял и стоял, глядя вслед генералу.

3

Ночью мы составили график.

Со свойственной ему деловитостью Рахимов вычертил табличку.

На рассвете три отделения — по одному от каждой стрелковой роты — разными дорогами отправились в разведку. Затем через каждые два часа, по графику, отделение за отделением уходило за реку, вперед, туда, откуда надвигались немцы. Бойцам ставилась задача: поглядеть. Пока больше ничего. Поглядеть, увидеть живого немца и вернуться.

Я хотел, чтобы бойцы уверились, что на нас идут не чашуйчатые, хвостатые чудовища, не лешие, не драконы с огнем изо рта, а люди. Люди с развращенной, разбойничьей душой, но с такими же телами, как у нас, с

человеческой кожей, которую легко пробивает штык и пуля, существа, которых можно бить.

Осторожно, держась опушек, бойцы подползали к деревням, тихо окликая колхозников, разузнавали, где немцы, сколько их. И, порасспросив, подкрадывались, чтобы поглядеть немцев. Первый раз это было жутковато, но бойцы шли. Шли вперед! Из-за кустов, из-за плетня, из ямы, со жнивья, с огородов, они высматривали: каковы они собой, враги, идущие нас убить.

И отделение за отделением возвращалось. Красноармейцы наперебой рассказывали, как немцы ходили по селу, умывались, ели, стреляли кур, смеялись, о чем-то лопотали по-немецки.

Рахимов спрашивал командиров отделений, выясняя численность и вооружение противника, его передвижения, и все тщательно записывал. А я, слушая те же донесения, всматривался в лица, ловил пульс батальона. Многие возвращались оживленными, но у некоторых во взгляде все еще стояла грусть — этих не покинул страх.

Одно отделение, во главе с Курбатовым, пришло особенно веселым.

Лихо козырнув и щелкнув каблуками, глядя на меня смеющимися черными глазами, Курбатов сказал:

— Разрешите доложить, товарищ комбат. Ваш приказ не выполнен!

— Как так?

— Вы приказали не стрелять, а у меня сорвалась рука. Я два раза выстрелил... И боец Гаркуша тоже.

— И что?

— Двоих уложил, товарищ комбат. Взяло за живое: они кабанчика у женщины отнимали... Она вцепилась в одного, лежит на земле, кричит. Он ее сапогом в лицо. Не выдержало сердце, приложился — хлоп, хлоп! И боец Гаркуша тоже. Так они у нас и ткнулись...

Гаркуша — тот, что когда-то на первом марше помучился с гранатной сумкой, — вставил словечко:

— А у меня, товарищ комбат, была еще причина.

— Какая?

Гаркуша посмотрел на товарищей, подмигнул:

— Наш брат глазам не верит, дай пощупать.

— Ну как, ощупал? Берет их пуля?

— Это, товарищ комбат, мало! Мне охота пощупать по-другому.

И Гаркуша отмочил такое, чего не пишут на бумаге.

Кругом расхохотались. Я с удовольствием прислушивался.

Ко мне подошли пулеметчики: степенный Блоха, Галлиулин, Мурин.

— Товарищ комбат, разрешите обратиться, — сказал Блоха.

Я разрешил. Блоха локтем подтолкнул Галлиулина, Мурин пихнул его сзади. Высоченный казах с черным блестящим лицом робко сказал:

— Товарищ комбат...

— Что тебе?

— Товарищ комбат, вы на нас сердитесь?

— Не сержусь.

— А почему, товарищ комбат, все ходят глядеть немца, а пулеметчики не ходят? Все видали, а мы нет. Боец Гаркуша стрелял немца, а мы нет.

— Куда же я пошлю вас с пулеметом? Пулеметы здесь нужны.

— А мы немножко, товарищ комбат, совсем немножко... И сразу прибежим.

Мурин не вытерпел:

— Товарищ комбат, мы за ночь обернемся. Мы и ночью поглядим. Подожжем что-нибудь, они и выскочат. И разрешите, товарищ комбат, стрельнуть.

Да, в батальон сегодня пришло что-то новое.

Мурин был интересным человеком. Я несколько раз замечал, что он первый раскисал, когда раскисал батальон, и первый оживлялся, когда у всех крепчал дух. На нем, казалось, всегда оттискивался боевой чекан батальона, чекан, который то расплывался, то резко вырисовывался. Я знал: этот чекан еще не был узором булата, который ничто в мире не сотрет.

О булате, как вы знаете, мне сказал Панфилов. Чем глубже я вдумывался в указания, которые он нам оставил, чем пристальнее всматривался в бойцов, вслушивался в донесения разведки, в слова и в интонации, тем яснее мне вырисовывалась одна идея.

И я сказал пулеметчикам:

— Хорошо, Галлиулин. Не останешься в обиде: завтра вам будет работа.

ПОПРОБУЙТЕ СРАЗИТЕСЬ С НАМИ!

1

Идея была такова.

Впереди нас, километрах в двадцати, лежало большое село Середа, то самое, в котором тринадцатого октября начальник штаба Рахимов с конным взводом обнаружил немцев. От этого села лучами расходилось несколько столбовых дорог — на Волоколамск, Калинин и Можайск.

Сопоставляя донесения и рассказы бойцов и командиров, возвращающихся из разведки, опрашивая уходящих от немца жителей, мы установили, что в Середе противник устроил своего рода перевалочный пункт. Там расположились склады продовольствия, боеприпасов и горючего, там по пути следования ночевали немецкие части, направляющиеся затем на север — к Калинину и на юг — по дороге, ведущей в Можайск, охватывая с двух сторон нашу оборону.

Возникла мысль: не ударить ли по этому пункту самим, не ожидая удара немцев? Не совершить ли ночной налет на Середу?

Но Панфилов говорил: «Рассчитайте! Рассчитайте — и бейте!».

Я отправил на рекогносцировку Рахимова во главе командирской разведки. Тридцатидвухлетний казах Рахимов был спортсменом и путешественником по призванию. Кажется, я уже говорил, что в Казахстане он приобрел некоторую известность как альпинист. Он ходил быстро и вместе с тем неторопливо. Кроме хладнокровия и редкой тщательности в исполнении приказаний, он обладал еще одним незаменимым на войне свойством: даром ориентировки. Даже в темноте он, казалось, видел, как кошка.

С нетерпением я ожидал возвращения Рахимова. Отправившись под вечер четырнадцатого октября, он отсутствовал всю ночь и все утро.

Наконец к полудню он прибыл. Да, все подтвердилось: в Середе действительно перевалочный пункт. Охрана несерьезна. По-видимому, немцы совершенно уверены, что на них не осмелятся напасть.

Я принял решение: напасть этой же ночью.

К вечеру был сформирован отряд, в сто человек — по одному, по два бойца от каждого отделения. Отбира-

лись лучшие, самые смелые, самые выносливые, самые честные. Участие в налете считалось наградой бойцу.

Задача была формулирована так: в глухой час ночи ворваться с трех сторон в Середу, переколоть и перестрелять немцев, поджечь склады, захватить пленных и заминировать, если хватит времени, дороги, ведущие в Середу и из Середы. Удерживать село не требовалось, к утру следовало вернуться в расположение батальона.

Командир полка дал санкцию, но не разрешил мне отправиться с отрядом. Командиром отряда я назначил Рахимова, политруком — Бозжанова.

Вечером, когда стемнело, сто бойцов выстроились на опушке близ штабного блиндажа. Над волнистой линией шапок выделялась голова Галлиулина, рядом угадывался коренастый Блоха. Я исполнил обещание: пулеметчики тоже шли в ночной рейд с пулеметами в двуколках.

Я опять не видел лиц, но в темноте пробегали токи. Меня била нервная дрожь, и, не прикасаясь к бойцам, я все-таки знал: такая же лихорадка прохватывает сейчас и их. Это была дрожь не страха, а азарта, это был подъем перед боем. В голове всплыла древняя казахская пословица: С нее, с этой пословицы, я начал свое слово:

— Враг страшен до тех пор, пока не изведаешь вкуса его крови... Идите, товарищи, испробуйте, из чего сделан немец. Потечет ли из него кровь от вашей пули? Завопит ли он, когда в него всадишь штык? Будет ли он, издыхая, грызть зубами землю? Пусть погрызет, накормите его нашей землей! Генерал Панфилов назвал вас орлами. Идите, орлы!

Рахимов повел бойцов. Я смотрел, как колонна скрывалась в полумгле. Ко мне подошел Краев.

— Почему вы меня не пустили, товарищ старший лейтенант? — буркнул он.

— Самого не пустили, Краев.

В этот вечер мы оба завидовали бойцам.

Началась ночь с пятнадцатого на шестнадцатое — ночь нашего первого боя.

2

Я не мог заснуть этой ночью. Не мог и усидеть в блиндаже. Выходил на опушку, шагал по тропинке и

без тропки, посматривал на запад, куда ушли бойцы, и прислушивался, словно оттуда, за двадцать километров, мог дойти звук выстрела или крик.

Днем с юга к нам доносилась глухая канонада. Мы еще не знали, что в этот день немцы рванулись танковыми колоннами к Москве, в обход левого фланга дивизии, что там, у совхоза Булычево (запишите это название: когда-нибудь оно золотыми буквами на мраморе засверкает в будущем клубе-дворце нашей дивизии), панфиловцы уже вступили в бой.

Ночью и там все стихло.

У темнеющей в снегу натоптанной дорожки, ведущей к штабному блиндажу, стоял часовой. Он поглядывал туда же, куда смотрел и я. Весь батальон знал: сто орлов ушли в бой. Весь батальон ждал: каков же он будет, первый бой с немцами?

Я то и дело вынимал часы. Светящиеся стрелки показывали три, половину четвертого, четыре... Глаз попрежнему встречал повсюду лишь тьму; настороженное ухо по-прежнему ловило лишь безмолвие.

Вдруг в небе что-то мелькнуло. Нет, почудилось... И снова возникла чуть заметная мутная полоска. Что это? Светает? Но разве оттуда восходит солнце? Померещилось... В небе опять все темно. И опять мигнул отсвет. И погас. И снова явился... Теперь он мерцал, то разливаясь, то будто сжимаясь, но не уходил. В нем проступил розоватый тон... Я смотрел, смотрел как зачарованный. Словно раздуваемое чьим-то могучим дыханием, по ночному небу растекалось живое пульсирующее зарево.

Часовой выдохнул:

— Жгут их наши! Бьют их наши!

Я хотел что-то ответить и не смог. Горло было перехвачено радостью; вместе с заревом она пульсировала во мне, и, казалось, кровь разносила ее во все уголки тела. В те минуты я впервые познал жгучую радость удара по врагу.

3

Отряд вернулся утром.

Впереди мчалась тройка, запряженная в широкие ковровые сани. Этих коней я не видал в полку, их отбили в Середе у немцев. К саням толстыми веревками были привязаны два мотоциклета с колясками, с укреплен-

ными впереди пулеметами. Это тоже были трофеи. На мотоциклетных седлах, на багажниках, в прицепных колясках сидели мои красноармейцы.

За первой тройкой неслись другие запряжки. Бойцы ушли пешком, теперь они ехали на санях.

Из окопов, близких и дальних, сбегались бойцы. Радостно встречая своих, они с удивлением и любопытством оглядывали жалкую фигуру пленного немца, которого вместе с прочими трофеями захватил отряд. В зеленоватом мундирчике, в зеленоватой пилотке, он сидел, озираясь исподлобья, медленно поворачивая жилистую, с большим кадыком шею.

Бозжанов жестом велел пленному подняться на сиденье.

— Можно с ним поговорить, — сказал Бозжанов. — Он по-русски немного понимает. Как фамилия?

Пленный что-то пробормотал.

— Громче! — прикрикнул Бозжанов.

У немца руки дернулись вниз, по швам, и, стоя навытяжку перед казахом, он отчетливо назвал фамилию. Все разглядывали живого, говорящего немца.

— Женат?

— Ни... кавалер...

Бозжанов от души расхохотался. Добродушное полное лицо, расплывшись, стало еще шире, маленькие глазки исчезли. Все хохотали вместе с политруком: «Кавалер! Вот так кавалер!» А немец озирался. Кто-то крикнул:

— Тише!.. Слушайте, что скажет политрук.

Бозжанов поднял руку. Все умолкли.

— Политрук скажет: смейтесь! — произнес он.

И, вероятно, неожиданно для самого себя бросил фразу, которую потом часто повторяли в батальоне.

— Смех — это самое серьезное на фронте.

Стараясь говорить медленно и очень внятно, Бозжанов стал расспрашивать о планах немецкого командования. Пленный не сразу понял. Уловив, наконец, смысл вопроса, он сказал, коверкая русские названия:

— Завтракать — Вольоколямск, ужинать — Москау.

Он произнес это серьезно, держа руки по швам, очевидно даже здесь, в плену, не сомневаясь, что так оно и выйдет: «Завтракать — Вольоколямск, ужинать — Москау».

И снова грянул хохот.

В минуты этого безудержного смеха я чувствовал, как души бойцов освобождались от страха.

Подергивая шеей, пленный косился по сторонам. Он не понимал, что стряслось с этими русскими. Мы и сами, наверное, не понимали, почему так заливаемся.

Так был выигран первый бой. Так на нашем рубеже был побит генерал Страх.

4

Рахимов и Бозжанов доложили мне подробности налета.

Конечно, можете не сомневаться: в бою не все вышло так, как замышлялось.

Одна группа, случайно столкнувшись с патрульными, начала раньше, чем село было полностью окружено. Бойцы врывались в дома, кололи и стреляли немцев, но у тех оставались некоторые не перерезанные нами выходы, многим удалось бежать. Они сумели опомниться и развернуть оборону раньше, чем мы предполагали.

Отряд перебил сотни две гитлеровцев, заминировал дороги, поджог много автомашин и несколько складов, в том числе хранилище бензина, однако кое-что на одном краю села немцам удалось отстоять.

Но главное было достигнуто бойцы видели бегущих перед ними немцев, бойцы слышали, как они вопили, издыхая, бойцы испробовали их шкуру пулей и штыком.

С Рахимовым и Бозжановым я шел по рубежу. Бойцы, участники налета, уже разбежались по отделениям и взводам. По моему приказанию занятия и работы были на два часа прекращены. Всюду виднелись группы, собравшиеся вокруг героев, поколотивших немцев.

То там, то здесь слышался смех. Этот день, шестнадцатого октября тысяча девятьсот сорок первого года, в нашем батальоне был днем смеха. Впоследствии я не раз вспоминал слова Бозжанова: «Смех — это самое серьезное на фронте». Когда на поле боя, на передний край, приходит смех, страх улепетывает оттуда.

Меня встречали командой: «Встать! Смирно!» По одному этому выкрику можно часто ощутить душу солдата. Как весело он звучал в тот день!

Подойдя к одной группе, где центром был Гаркуша, я заметил: один боец что-то прячет за спиной. Гаркуша поймал мой взгляд.

— Дай сюда! — повелительно сказал он.

Боец подал немецкую фляжку.

— С ромом, товарищ комбат! — объявил Гаркуша. — Хоть немецкий, а ничего, берет... Сейчас провожу занятия и угощаю: пусть на факте убеждаются. Отведайте, товарищ комбат.

Он протянул фляжку. Я отхлебнул.

— Гаркуша хорошо дрался, — скупо сказал Рахимов.

— Ежели бы мне, товарищ комбат, — хвастливо продолжал Гаркуша, жестикулируя фляжкой, — с каждого, кого я уничтожил, снимать такую, я бы два десятка их принес. Куда там, не донес бы! Там не до того.

Гаркуша все рассказывал и рассказывал...

Мы пошли дальше по линии окопов. Повстречался Мурин, который в составе пулеметного расчета тоже участвовал в налете. Он куда-то торопился, но издали принял бравый вид и за добрый десяток метров дал строевой шаг. Здесь был передний край; здесь ничто, кроме полосы, которая на фронте зовется «ничьей», не отделяло нас от немцев, а Мурин впечатывал ногу, проходя мимо комбата. Глядя на меня, Мурин вдруг улыбнулся. И в ответ я улыбнулся ему. И все. Мы не остановились, не сказали ни единого слова, но душу опять, как ночью, залила радость. Я любил его и чувствовал: он любит меня. Это опять были чудесные минуты счастья — особого счастья командира, когда ощущаешь себя слитым воедино с батальоном. Я знал мозгом и сердцем: в батальоне сегодня родилось бесстрашие.

Вокруг все, казалось, было прежним. За черной незамерзшей рекой белела даль. Сквозь ранний снег кое-где проглядывали незаметенные краешки вспаханной земли. Темнели клины леса. Я по-прежнему знал: вот-вот все загрохочет, по снегу, оставляя черные следы, поползут танки, из лесу выбегут, припадая к земле и вновь вскакивая, люди в зеленоватых шинелях, с автоматами, идущие нас убить, но внутри звучало: «Попробуйте сразитесь с нами!» И во взглядах, в улыбках, в словах, в непокидавшем нас смехе звенело, казалось, все то же: «Попробуйте сразитесь с нами!»

Так звучал в тот день наш батальон, наш булат. Хочется выразиться красочно, например так: да, он, наш батальон, становился булатом — прокаленным, заточенным, узорчатым клинком, который режет железо, с кото-

рого ничто в мире не сотрет чекана. Но скажем скромнее: в тот день мы закончили среднее солдатское образование. Последний класс этой школы — удар, или, употребляя военно-профессиональный термин, укол штыком, укол не в чучело, а в живое тело врага. Этот укол, освобождающий от страха, нам дался сравнительно легко — в лихом ночном набеге.

Тяжелые бои, страшные испытания мужества — все это было впереди. Великая двухмесячная битва под Москвой лишь начиналась.

В эти два месяца мы, первый батальон Талгарского полка, приняли тридцать пять боев; одно время были резервным батальоном генерала Панфилова; вступали в драку, как и положено резерву, в отчаянно трудные моменты; воевали под Волоколамском, под Истрой, под Крюковом, перебороли и погнали немцев.

О наших тридцати пяти боях расскажу потом, а сейчас...

— Сейчас, — сказал Баурджан Момыш-Улы, — ставьте большую точку. Пишите: конец первой повести.





ПОВЕСТЬ ВТОРАЯ



НАКАНУНЕ БОЯ

Не легко человеку стать солдатом, не легко командиру дисциплинировать войска, а воевать еще труднее.

— Наша вторая повесть, — продолжал Бауржан Момыш-Улы, — еще более ответственна. Раньше мы говорили о подготовке солдата. Теперь речь пойдет о бое.

1

— Шестнадцатого октября тысяча девятьсот сорок первого года, — продолжал Бауржан Момыш-Улы, — я, командир батальона, лежал на походной койке в своем блиндаже, в ста тридцати километрах от Москвы.

Издалека, то напряженно учащаясь, то затихая, доходила орудийная пальба. Звук докатывался слева, — за двадцать—двадцать пять километров. Там, на левом фланге дивизии, как мы узнали потом, немцы пытались в этот день прорваться танками.

А у нас, в расположении батальона, все было спокойно. Противник не продвигался к рубежу батальона, к центральному отрезку так называемого Волоколамского укрепленного района.

Я лежал и думал.

Мне надоедал мой коновод Синченко, единственный в батальоне, кому дозволялось ворчать на меня. То у него была истоплена для меня баня, то готов обед. Я прогонял его:

— Потом... Убирайся, не мешай!

— Чего заладили: не мешай и не мешай! А сами полный день ничего не делаете.

— Я думаю. Понял? Ду-ма-ю.

— Разве можно так много думать?

— Можно. Если тебя убьют по моей глупости, что я скажу твоей жене? А ты у меня не один.

Быть может, и вам представляется, что командир батальона, особенно в такой момент, накануне боя, обязан что-то делать: разговаривать по телефону, вызывать подчиненных, ходить по рубежу, отдавать распоряжения. Однако наш генерал Иван Васильевич Панфилов не один раз внушал нам, что главная обязанность, главное дело командира — думать, думать и думать.

2

В ночь на шестнадцатое, как вам известно, сто моих бойцов, отправившись за двадцать километров, совершили вылазку в расположение врага. Они возвратились с победой.

Эта первая победа преобразила душу солдата, преобразила батальон.

А дальше?

Конечно, наша дерзость ничего не могла изменить в оперативной обстановке. Мы, семьсот человек, первый батальон Талгарского полка, по-прежнему держали восемь километров фронта на подступах к Москве, куда стягивались немецкие дивизии.

Вернулись думы, которые мучили меня в течение последних двух-трех дней.

Принимая рубеж, я, как вы знаете, не допускал мысли, что здесь, на этой позиции, на этой восьмикилометровой полосе, врагу будет противостоять

лишь один батальон; я предполагал, что позади нас будет создана вторая и, возможно, третья линия обороны, где развернутся другие части Красной Армии; предполагал, что, приняв удар и несколько задержав врага, мы отойдем затем к главным силам.

Но два-три дня назад мы узнали, что перед нашим рубежом появилась гитлеровская армия, прорвавшаяся около Вязьмы, что другой линии войск позади нас нет, что Волоколамск и Волоколамское шоссе — прямая дорога на Москву — заслонены лишь нашей дивизией, растянувшейся на этом многокилометровом фронте, и несколькими противотанковыми артиллерийскими полками.

Так сложились обстоятельства войны. Такова была задача, возложенная на Красную Армию в тот момент: остановить врага перед Москвой малочисленными силами, сдержать его, пока к нам не прибудут подкрепления.

3

Разрешите не употреблять выражений вроде: Родина повелела, Родина потребовала. Я хочу быть скупым на слова, когда речь идет о любви к Родине.

Можете не сомневаться: я, наверное, не менее остро, чем вы, чувствую, что такое социалистическая Родина, что такое страна, которую мы защищаем, в которой мы живем.

Вся моя любовь, вся страсть, все силы души были в те дни устремлены к одному — как выполнить задачу, что выпала на долю батальона, как отстоять рубеж.

Лежа на койке, я видел, как противник, преодолев в несколько часов двенадцать-пятнадцать километров незащищенной полосы, которая в тот момент все еще отделяла нас от немцев, выйдет к берегу Рузы, к нашим укрытиям. Встретив сопротивление и обнаружив линию обороны, он под покровом ночи скрытно сосредоточит где-нибудь в лесу — в пункте, который сам изберет, — ударную группу, подтянет артиллерию и затем, вполне изготовившись, построив войска по излюбленному способу — клином, рванется вперед на узком фронте — на пространстве в полкилометра или в километр. А

каждый километр нашего батальонного района прикрывался лишь одним стрелковым взводом и одним отделением пулеметчиков.

И у меня не было резерва. Расчет расстояний показывал, что стремительным и внезапным броском немцы смогут прорвать нашу линию раньше, чем подоспеют силы с других участков туда — на какой-то неведомый километр.

Нельзя ли, думая за противника, угадать пункт, который ему, немцу, покажется наиболее выгодным, наиболее подходящим для атаки? Но ведь и он, противник, не дурак. Я стараюсь думать за него, а он, подлец, будет думать за меня.

Он, конечно, легко разгадает мои соображения и найдет способ объегорить. Он стукнет в одном месте, я поспешу стянуть туда роты, направлю туда минометы и пушки, а другая группа тем временем пройдет сквозь оголенный фронт.

Может быть, уже сейчас, на расстоянии в двадцать километров, он с усмешкой читает мои мысли,

Возник воображаемый облик командира немецкой группировки, скапливающейся против нас. Предстала высокомерная, гладко выбритая физиономия гитлеровца в полковничьих, а возможно, и в генеральских погонах.

Против наших восьми километров, против моего батальона он располагал или будет завтра-послезавтра располагать приблизительно дивизией, подтягивающейся из глубины. Напряженно всматриваясь в воображении в него, немецкого военачальника, у которого я уже теперь, лежа на койке, обязан выиграть бой — безмолвный бой ума с умом, пытаясь проникнуть в его мысли, в его планы, я повторял себе: не рассчитывай, Баурджан, что перед тобой дурак.

Но глаза, которые я видел в фантазии, — острые, жесткие, немолодые, — глаза, что могли зажигаться военным азартом, что могли с интересом подолгу вглядываться в карту, сейчас не были оживлены игрой ума, не поблескивали мыслью. Он, немецкий полковник или генерал, презирал меня, презирал противостоящий ему батальон — несколько сот красноармейцев, загородивших на подступах к Москве восемь километров фронта. Он скучал. Война на востоке была в его представлении

выиграна, дорога в Москву открыта. Он пренебрегал нами, он не удостаивал нас усилий мозга.

Может быть, я ошибаюсь? Может быть, уроки войны — героическое сопротивление пограничных частей Красной Армии, оборонительное сражение под Смоленском, оборона Одессы, Ленинграда — заставили его призадуматься? Может быть, и наш ночной налет, наш вызов показал ему, что под Москвой предстоит жестокая борьба?

Вряд ли... Для него, завоевателя, кто вместе с гитлеровской армией в четыре месяца прошел тысячу километров от границы до Московской области, кто командовал дивизией в операции под Вязьмой, где был раздроблен наш Центральный фронт, для него, уверенного, что через несколько дней он из автомобиля будет осматривать площади и улицы Москвы, — для него ночное нападение сотни красноармейцев казалось партизанской вылазкой, каких будет не мало и в дальнейшем, с какими справятся сыск и полевая жандармерия.

Чутье подсказывало: ты угадал, ты добрался до его черепной коробки. В мозг хлынула ненависть. Презираешь? Скучаешь? Погоди, мы заставим тебя думать!

А пока... Пока от него, «профессионала-победителя», уже не изволящего утруждать себя мыслью, надо ждать действий по шаблону. Таковой известен. Преодолев в несколько часов двенадцать-пятнадцать километров незащищенной полосы и сбив наше боевое охранение... Пришлось усмехнуться. Проникнув в черепную коробку врага, я не очень продвинулся: я пришел, описав круг, к тому, с чего начал.

4

Я сказал: шаблон известен. Так ли это?

Я знал войну по литературе, по учебникам, уставам, по разговорам с людьми, побывавшими в боях, я участвовал в учениях, учил солдат, выступил с ними на фронт, и все-таки война оставалась для меня тайной, как для всякого, кто сам не испытал боя.

В Польше, во Франции гитлеровцы продемонстрировали свою манеру войны: прорвав в нескольких пунктах линию войск, немцы на танках, грузовиках, мотоциклетах стремительно двигались вперед, подавляя затем

сопротивление разрозненных окруженных групп. Так они пытались действовать и у нас.

Раздумывая, и я употреблял шаблонные слова: сбив, прорвавшись, подавляя... Но что это такое? Почему подавляя? Как это происходит?

Не заглядывая в карту, которую знал наизусть, я видел извилистые берега неширокой медлительной Рузы, наш рубеж — цепочку пулеметных гнезд и стрелковых ячеек. Позади, в лесу, были спрятаны восемь пушек, приданные батальону; впереди, по берегу, выступал отвесный противотанковый срез, называемый на военном языке эскарпом.

Взор пробегал дальше, за реку, в сторону противника. Я в подробностях видел промежуточную полосу, еще не занятую гитлеровцами, но уже покинутую нами; видел дороги, ведущие из пунктов немецкого сосредоточения к нашим укрытиям; видел овраги и леса, будто нарочно предназначенные для засад. У меня ныло сердце, когда я представлял, как немецкие колонны, не натыкаясь на сопротивление, будут продвигаться мимо этих оврагов и этих лесов, сегодня еще доступных нам, где могли бы затаиться роты.

В уме уже возникала идея удара с тыла, удара из засады, в хвост неразвернувшимся колоннам, которые окажутся зажатыми между двух огней.

Возникал план встречного боя: самому внезапно атаковать противника, когда он будет на подходе. Но какими силами? Вывести батальон из укреплений?

При недавнем посещении батальона генерал Панфилов настойчиво направлял внимание на возможность, при случае, встречного удара.

Но ведь у меня всего лишь семьсот человек на восемь километров фронта. Ведь не могу же я вывести весь батальон, оставив неприкрытым рубеж. Какими словами передать вам эту тоску командира: мало сил, мало сил...

Думая за противника, я видел много способов решить его задачу — прорвать линию моего батальона, а сам не мог создать плана, не мог найти хода, предотвращающего прорыв рубежа.

Я терзал себя, поносил себя. Болело все тело, как избитое.

5

Вечером я получил приказание: к пяти часам утра прибыть в район соседа слева, на командный пункт смежного с нами батальона.

ОДИН ЧАС С ПАНФИЛОВЫМ

1

К соседу слева я отправился верхом.

Подчеркните: слева. Хочется, чтобы у вас имелась грубая, но ясная ориентировка. Еще раз вообразите линию батальона, протянувшуюся вдоль реки Рузы. Станьте лицом к противнику. Необходимо, чтобы в дальнейшем вы ясно представляли: то-то происходит перед вами, перед фронтом батальона, то-то по правую руку, то-то — по левую, где такие же батальоны, как и наш, занимали столь же протяженные участки.

После ранней зимы, удивительной в октябре, когда на полторы-две недели установился санный путь, погода переменилась. Мороз отпустил, началась осенняя слякоть. Ночи стали безлунными, черными.

Опасаясь впотьмах ввалиться вместе с лошадью в какую-нибудь ямину, я не поехал прямиком, по берегу, а направился проселочной дорогой, вкруговую.

Коню было не легко идти даже шагом. Взматывая головой, Лысанка с хлюпаньем выдирала копыта из липкого месива. Я грузно сидел в седле, предаваясь думам.

На пути стали попадаться пешие фигуры, идущие в том же направлении. Я встрепенулся. Что такое? Новые силы? Подкрепление? Мой карманный фонарик время от времени прорезал черноту пучком света.

Что такое: отстали от колонны, что ли? Идут по двое, по трое, в залубеневших плащ-палатках, по которым скатываются струи монотонно секущего дождя. Торчат стволы винтовок, взятых на ремень. Кто-то спрашивает:

— Сколько до Сипунова, товарищ командир?

Я говорю:

— Что за люди? Откуда?

Узнаю: здесь прошел ночным маршем запасной батальон из Волоколамска, эти, что разговаривают со мной, отстали на марше.

Опять спрашивают, сколько километров до Сипунова. Я отвечаю обгоняя. Дорога некоторое время пустынна. Кругом тихо: ночью улегся дальний орудийный гром.

Но вот впереди опять кто-то передвигает вязнущие ноги. Опять идут двое, трое. Подмога радует, но... Но черт побери, как они плохо идут! Не чувствуется жесткой выучки, которую нам задал Панфилов: у нас так не растягивались, не отставали.

Лысанка пугливо прянула. Фонарик осветил засевшую по ступицы повозку, павшую лошадь, понуро мокнущего ездового.

Минуту спустя в стороне — огоньки цигарок. Несколько бойцов легли на обочине, курят: устало ноющее тело равнодушно к сырости.

И отовсюду ко мне только один вопрос: далеко ли Сипуново?

Я ехал туда же. Близ села Сипуново, в лесу, был расположен командный пункт смежного с нами батальона.

2

Добравшись, я по мокрым ступенькам спустился в подземелье командного пункта.

— А, товарищ Момыш-Улы, пожалуйте-ка...

Это был знакомый хрипловатый голос.

Я увидел генерала Ивана Васильевича Панфилова.

Он сидел у железной печки, переобуваясь. Один сапог был снят, небольшая смуглая нога протянута к накаленной жести. Неподалеку сидел адъютант Панфилова — молоденький румяный лейтенант. В другом углу — незнакомый мне капитан.

Вытянувшись, я доложил о прибытии. Панфилов достал часы, взглянул.

— Раздевайтесь. Садитесь к огоньку.

Привстав, он разостлал портянку, сыроватую с одного конца, поставил ступню на сухой край холста и быстро, умело, по-солдатски навернул без складочки. Затем обулся.

Потемневшая на дожде шинель со скромными, защитного цвета, звездами сушились у огня. Видимо, принимая прибывшую часть, Панфилов ходил на рубеж, много времени провел под дождем и, быть может, не

спал всю ночь. Однако в морщинистом пятидесятилетнем лице, очень смуглом, с черными подстриженными усиками, не проглядывала угрюмость утомления.

— Вам, товарищ, Момыш-Улы, слышно было, как мы сегодня-то? — прищурившись, с улыбкой спросил он.

Трудно передать, как приятен был мне в тот момент его спокойный, приветливый голос, его лукавый прищур. Я вдруг почувствовал себя не одиноким, не оставленным с глазу на глаз с врагом, который знает что-то такое, какую-то тайну войны, неведомую мне, человеку, никогда не испытавшему боя. Подумалось: ее, эту тайну, знает и наш генерал — солдат прошлой мировой войны, а затем, после революции, командир батальона, полка, дивизии.

Панфилов продолжал:

— Отбили... Фу-у-у... — Он шутливо отдышался. — Боялся. Только никому, товарищ Момыш-Улы, не говорите. Танки ведь прорвались... Вот и он, — Панфилов показал на адъютанта, — был со мною там, кое-что видел. А ну, скажи: как встретили?

Вскочив, адъютант радостно сказал:

— Грудью встретили, товарищ генерал.

Странные, крутого излома, черные панфиловские брови недовольно вскинулись.

— Грудью? — переспросил он. — Нет, сударь, грудь легко проткнуть всякой острой вещью, а не только пулей. Эка сказанул: грудью. Вот доверь такому чудаку в военной форме роту, он и поведет ее грудью на танки. Не грудью, а огнем! Пушками встретили! Не видел, что ли?

Адъютант поспешил согласиться. Но Панфилов еще раз едко повторил:

— Грудью... Пойди посмотри, кормят ли коней... И вели через полчаса седлать.

Адъютант, козырнув, сконфуженно вышел.

— Молод! — мягко сказал Панфилов.

Посмотрев на меня, затем на незнакомого мне капитана, Панфилов побарабанил по столу пальцами.

— Нельзя воевать грудью пехоты, — проговорил он. — Особенно, товарищи, нам сейчас. У нас тут, под Москвой, немного войск... Надо беречь солдата.

Я напряженно слушал генерала, стремясь найти в его словах ответ на измучившие меня вопросы, но пока не находил.

Подумав, он добавил:

— Беречь не словами, а действием, огнем.

3

Затем Панфилов сказал:

— Теперь у вас, товарищ Момыш-Улы, новый сосед... Знакомьтесь-ка: капитан Шилов.

Капитан стоял у стола — высокий, статный, молодой для своего звания, на вид лет двадцати семи. На голове была не ушанка, как у всех нас, бойцов и командиров панфиловской дивизии, а защитного цвета фуражка с пехотным малиновым кантом. Он не произнес ни одного слова, но даже и эта манера молчать, пока не обратится старший, наряду с формой, выправкой, выдавала кадровика. Мы поздоровались.

— Ехали по дороге, товарищ Момыш-Улы? — спросил Панфилов.

— Да, товарищ генерал.

— Отставших много?

— Много, — сказал я.

У Панфилова досадливо вырвалось:

— Эх...

Он повернулся к капитану. Покраснев, Шилов стал «смирно». Но вместо выговора, Панфилов сказал:

— Знаю, знаю, капитан, о чем вы думаете. Кто-то их воспитывал, кто-то их учил, а теперь изволь-ка расплачивайся капитан Шилов. Так?

Панфилов улыбнулся. Улыбнулся и Шилов. Напряженность покинула его.

— Нет, товарищ генерал-майор, не так.

— Не так?

Живым движением генерал подался к капитану. В маленьких глазках блестело любопытство. Шилов твердо ответил:

— Не о себе думаю, товарищ генерал-майор. Люди не расплатились бы. Разрешите выйти, принять меры, товарищ генерал-майор.

— Что, взгреете отставших?

— Нет, товарищ генерал-майор. Взгреть придется

командиров. И прикажу выяснить, кому надлежит двойная порция.

Панфилов засмеялся:

— Добре, добре, капитан.

— Разрешите выйти?

— Подождите.

Панфилов помолчал, подумал. Затем повторил:

— Так вот, товарищ Момыш-Улы, теперь у вас новый сосед. Батальон слабенький. Слабо подготовленный. Так, капитан?

— Да, товарищ генерал-майор.

Обращаясь ко мне, Панфилов объяснил, что дивизии был передан запасной батальон, расположенный в Волоколамске. Капитан Шилов лишь несколько дней назад принял батальон.

— Прежнего командира пришлось отставить, — говорил Панфилов. — Распустил людей, жалел. Чудак! Ведь жалеть — значит не жалеть! Вы меня поняли, капитан?

— Да. Я это знаю, товарищ генерал-майор.

Несколько секунд Панфилов молча смотрел на серьезное молодое лицо капитана Шилова, потом повернулся ко мне:

— Вас, товарищ Момыш-Улы, я вызвал вот для чего...

Во мне все напряглось... Но генерал просто сказал, что мне и капитану Шилову надлежит вместе осмотреть стык и промежуток.

— Если противник войдет в стык, бейте его вместе. Подготовьтесь к этому. По всем вопросам связи и взаимодействия договоритесь на местности. Друг друга в беде не оставляйте.

Еще раз внимательно поглядев на капитана, Панфилов разрешил ему выйти.

Для меня ничего не прояснилось. Меня по-прежнему терзали вопросительные знаки. «Бейте его вместе!» Как? Какими силами? Снять людей из окопов? Оголить, открыть фронт? А что, если противник одновременно ударит в другом пункте? «Бейте его вместе!» Но ведь и противник будет бить нас; будет бить превосходящими силами, в разных точках, с разных сторон.

Ловя каждое слово Панфилова, я отдавал себе отчет: тайна боя, тайна победы в бою для меня по-прежнему темна.

4

За капитаном затворилась дверь.

— Кажется, золотая голова, — раздумчиво сказал Панфилов. — Но... Значит, товарищ Момыш-Улы, отставших много? Очень много?

— Много, товарищ генерал.

— Да, хлебнешь горя и с золотой головой, если солдат не подготовлен.

Лицо Панфилова стало на миг очень утомленным, сумрачным. Но тотчас, взглянув на меня, он улыбнулся. Живо заблестели маленькие глазки с мелкими морщинками вокруг.

— Ну, товарищ Момыш-Улы... рассказывайте-ка...

Я кратко доложил об успехе ночного налета. Но Панфилов выспрашивал, добивался подробностей. И опять, как и в нескольких случаях прежде, получился не доклад, а разговор.

Панфилов сказал:

— Знаете что, товарищ Момыш-Улы? Перескажите все это Шилову. Подзадорьте его... Я хочу, чтобы завтра и он стукнул по-вашему.

Генерал не поздравил меня, не жал руку, не говорил: «Отлично! Молодец!», а хвалил по-другому — деловой похвалой, деловой лаской.

— Вот, товарищ Момыш-Улы, — продолжал он, — вы и научились бить немца.

Я грустно ответил:

— Нет, товарищ генерал, не научился.

Его брови поднялись.

— Как так?

— Сегодня, товарищ генерал, я весь день ломал голову. Когда думаю за противника — легко побеждаю. Когда думаю за себя — не вижу, как его бить, как отбросить.

Нахмурившись, Панфилов некоторое время молча смотрел на меня. Потом приказал:

— Доложите подробно! Доставайте-ка карту!

5

Я разостлал на столе свою карту. Красным карандашом была нанесена наша линия, нигде еще не тронутая, нигде не изломанная боем. По обе стороны нашего

батальонного района тянулась черта обороны соседних батальонов. Эта черта — редкая цепочка стрелковых ячеек и пулеметных гнезд — заграждала Москву от врага.

Я откровенно доложил, что, обдумав положение, не вижу возможности предотвратить моими силами прорыв в районе батальона. Не легко выговорить такие слова — всякий командир поймет меня, — но я выговорил. Панфилов молча кивнул, предлагая продолжать. Я высказал измучившие меня мысли: сказал о том, что у меня нет ни одного взвода в резерве, что в случае внезапного удара мне нечем подпереть нашу преграду, нечем парировать.

— Я уверен, товарищ генерал, что мой батальон не отойдет, а сумеет, если понадобится, умереть на рубеже, но...

— Не торопись умирать, учись воевать, — прервал Панфилов. — Но продолжайте, товарищ Момыш-Улы, продолжайте.

— Потом, товарищ генерал, меня смущает вот что... Сейчас линию батальона отделяет от противника промежуточная полоса шириной до пятнадцати километров.

Я показал эту полосу на карте. Панфилов опять кивнул.

— Что же, товарищ генерал, так ему и отдать эти пятнадцать километров?

— То есть, как это — отдать?

Я объяснил:

— Ведь, сбив наше боевое охранение, он, товарищ генерал, быстро подойдет...

— Почему сбив?

До сих пор Панфилов слушал серьезно и внимательно. Но тут, первый раз в течение моего доклада, его лицо выразило недовольство. Он резко повторил:

— Почему сбив?

Я не ответил. Мне казалось это ясным: не может же боевое охранение, то есть одно-два отделения, десять-двадцать человек, задержать крупные силы врага.

— Вы удивляете меня, товарищ Момыш-Улы, — сказал генерал. — Ведь били же вы немца!

— Но, товарищ генерал, тогда мы сами нападали... И притом ночью, врасплох...

— Вы удивляете меня, — повторил он. — Я думал, товарищ Момыш-Улы, вы поняли, что солдат не должен сидеть и ждать смерти. Надо нести ее врагу, нападать. Ведь если ты не играешь, тобой играют.

— Где же нападать, товарищ генерал? Опять на Середу? Противник там насторожился.

— А это что?

Быстро достав карандаш, Панфилов указал на карте промежуточную полосу.

— Вы, товарищ Момыш-Улы, в одном правы: когда подойдет вплотную, мы его нашей ниткой не удержим. Но ведь надо ему подойти. Вы говорите: сбив... Нет, товарищ Момыш-Улы, в этой полосе только и воевать... Берите там инициативу огня, нападайте. В каких пунктах у вас боевое охранение?

Я показал. Из немецкого расположения к рубежу батальона вели две дороги: проселочная и столбовая, так называемая профилированная. Каждую преграждало охранение за три-четыре километра перед линией батальона. Панфилов неодобрительно хмыкнул.

— Какие силы в охранении?

Я ответил.

— Этого, товарищ Момыш-Улы, мало. Тут должны действовать усиленные взводы. Ручных пулеметов им побольше. Станковых не надо. Группы должны быть легкими, подвижными. И посмелее, поглубже выдвигайте их в сторону противника. Пусть встречают огнем, пусть нападают огнем, когда немцы начнут тут продвигаться.

— Но, товарищ генерал, противник же их обойдет... Обтечет с двух сторон.

Панфилов улыбнулся.

— Вы думаете: «Где олень пройдет, там солдат пройдет; где солдат пройдет, там армия пройдет?» Это, товарищ Момыш-Улы, не про немцев писано. Они, знаете, как теперь воюют? Где грузовик пройдет, там армия пройдет. А ну-ка, где вы по этим оврагам-буеракам протащите автотранспорт, если заперты дороги? Ну-ка, товарищ Момыш-Улы, где?

— В таком случае выбьет...

— А, выбьет? Взвод с тремя-четырьмя пулеметами не легко выбить. Надо развернуться, ввязаться в бой. Это, товарищ Момыш-Улы, полдня... Пусть обходит, это

не опасно. А окружать не давайте. В нужный момент надо отскочить, выскользнуть. Примерно так...

Легкими касаниями карандаша Панфилов преградил одну из дорог близ занятого немцами села, затем карандаш побежал в сторону и, очертив петлю, вернулся на дорогу в другом пункте, несколько ближе к рубежу батальона. Взглянув на меня, — слежу ли я, понимаю ли? — Панфилов повторил подобный виток, затем провел такой же еще раз, все придвигаясь к рубежу.

— Видите, — сказал он, — какая спираль, пружина. Сколько раз вы заставите противника атаковать впустую? Сколько дней вы у него отнимете? Ну-с, что вы на это скажете, милостивый государь, господин противник?

Я соображал. Ведь и у меня были мысли о чем-то подобном, но до разговора с Панфиловым я не мог освободиться от гипноза укреплений, не имел, казалось мне, права выводить людей из окопов.

6

Вошел адъютант Панфилова.

— Лошади оседланы, товарищ генерал.

Панфилов посмотрел на часы.

— Хорошо... Позвоните в штаб, что минут через десять выезжаем.

Он потрогал ворот и плечи шинели, сушившейся около печки, опустился на корточки, подкинул в огонь дровец и с минуту посидел так, на корточках, у раскрытой печной дверцы. В этих простых движениях опять, как и в прошлую встречу, сквозила уверенность. Чувствовалось, что он приготовился воевать основательно, расчетливо, долго.

Затем Панфилов вернулся к карте, посмотрел на нее, повертел карандаш.

— Конечно, товарищ Момыш-Улы, — сказал он, — в бою все может обернуться не так, как мы с вами сейчас обговорили. Воюет не карандаш, не карта, разрисованная карандашом. Воюет человек.

Как это было ему свойственно, он говорил, будто размышляя вслух.

— Подберите для усиленных взводов, — продолжал он, — отважных и смышленых командиров. Чтобы здесь кое-что было.

Он постучал себя по лбу.

— Из тех, товарищ генерал, которые уже побывали в ночном налете?

Панфилов прищурился.

— Я, товарищ комбат, вместо вас командовать батальоном не намерен. У меня дивизия. Это уж вам самому придется сделать: выбрать промежуточные позиции боевого охранения, выбрать командиров.

Однако, подумав, он все-таки ответил:

— Нет, зачем посылать тех, которые побывали в деле? Пусть и другие обстреляются. Всем воевать надобно. Но уясните, товарищ Момыш-Улы, главное: не пропускайте, всячески не пропускайте по дорогам. Не давайте подойти к рубежу. Сегодня противник от вас за пятнадцать километров. Это, товарищ Момыш-Улы, очень близко, когда нет сопротивления, и очень далеко, когда каждый лесок, каждый бугорок сопротивляется.

Вновь поглядев на карту, помолчав, он продолжал:

— Еще одно, товарищ Момыш-Улы: проверьте подвижность батальона. И постоянно поглядывайте: наготове ли повозки, упряжь, лошади... На войне всякое бывает. Будьте готовы быстро по приказу свернуться, быстро передвинуться.

Мне показалось, что он выражается как-то иносказательно, неясно. Для чего он мне все это говорит? Я опять решил выяснить напрямик свои недоумения.

— Товарищ генерал, разрешите спросить?

— Да, да, спрашивайте. Для этого мы и разговариваем.

— Мне неясно, товарищ генерал. Ведь противник все же выйдет к рубежу батальона. Вы сказали: не удержим. Я прошу разрешения спросить вас: какова перспектива? К чему должен быть готов я, командир батальона? К отходу?

Панфилов побарабанил по столу пальцами. Это был жест затруднения.

— А вы сами как об этом думаете, товарищ Момыш-Улы?

— Не знаю, товарищ генерал.

— Видите ли, товарищ Момыш-Улы, — не сразу сказал он, — командир всегда обязан продумать худший вариант. Наша задача — держать дороги. Если немец прорвется, перед ним опять на дорогах должны быть на-

ши войска. Вот поэтому-то я и взял отсюда батальон. Хотел ваш взять, но у вас важная дорога.

Он показал на карте дорогу Середа—Волоколамск, которую перегораживала красная черта батальона.

— Не линия важна, товарищ Момыш-Улы, — важна дорога. Если понадобится, смело выводите людей из окопов, смело сосредоточивайте, но держите дорогу. Вы меня поняли?

— Да, товарищ генерал.

Он подошел к шинели и, одеваясь, спросил:

— Знаете ли вы загадку: «Что на свете самое долгое и самое короткое, самое быстрое и самое медленное, чем больше всего пренебрегают и о чем больше всего сожалеют?»

Я сообразил не сразу. Довольный, что затруднил меня, Панфилов с улыбкой вынул часы, продемонстрировал:

— Вот что! Время! Сейчас наша задача, товарищ Момыш-Улы, в том, чтобы воевать за время, чтобы отнимать у противника время. Проводите меня.

Мы выбрались из блиндажа.

7

Серел рассвет. Дождь перестал, деревья неясно проступали сквозь туман. Подвели лошадей. Панфилов огляделся.

— А где же Шилов? Пойдемте-ка, пока, чтобы он нагнал.

Дорогой Панфилов спросил меня, какие работы идут на рубеже. Я доложил, что батальон роет ходы сообщения. Панфилов приостановился.

— Чем вы копаете?

— Как чем? Лопатами, товарищ генерал.

— Лопатами? Умом надо копать. — Он произнес это с обычной мягкостью, с юмором. — Наворотили вы, должно быть, там земли. Сейчас вам надо, товарищ Момыш-Улы, копать ложную позицию. Хитрить надо, обманывать.

Я удивился. После разговора с генералом у меня осталось впечатление, что он не придает особенного значения оборонительной линии. Теперь выходило, что это не так. Я ответил:

— Есть копать ложную позицию, товарищ генерал.

Нас бегом нагнал капитан Шилов.

У дороги, в том месте, куда нас вывела тропка, стоял часовой — парень лет двадцати с серьезными серыми глазами. Не очень чисто, но старательно, он приветствовал генерала по-ефрейторски, на караул.

— Как живешь, солдат?

Парень смутился. В то время в нашей армии обращение «солдат» было не принято. Говорили: «боец», «красноармеец». Его, быть может, первый раз назвали солдатом. Заметив смущение, Панфилов сказал:

— Солдат — великое слово. Мы все солдаты. Ну, расскажи, как живешь?

— Хорошо, товарищ генерал.

Хмыкнув, Панфилов посмотрел вниз. Скрывая шнуровку, жидкая грязь облепила тяжелые ботинки часового. Следы дорожной грязи, счищенной сучком или щепкой, остались на мокрых обмотках и повыше. Рука, державшая винтовку, посинела на рассветной стуже.

— Хорошо? — протянул Панфилов. — А скажи, как марш проделали?

— Хорошо, товарищ генерал.

Панфилов обернулся к Шилову.

— Товарищ Шилов, как марш проделали?

— Плохо, товарищ генерал.

— Эге... Оказывается, ты, солдат, соврал. — Панфилов улыбнулся. — Ну, говори, говори, рассказывай, как живется?

Часовой упрямо повторил:

— Хорошо, товарищ генерал.

— Нет, — сказал Панфилов. — Разве во время войны хорошо живут? Шагать ночью под дождем по такому киселю — чего в этом хорошего? После марша спал? Нет. Ел? Нет. Стой тут, промокший, на ветру или рой землю, а завтра-послезавтра в бой, где польется кровь. Чего в этом хорошего?

Часовой неловко улыбался.

Панфилов продолжал:

— Нет, брат, на войне хорошо не живут... Но наши отцы, наши деды умели все это переносить, умели побеждать тяготы боевой жизни, громили врага. Ты, брат, еще не встретился с врагом в бою... Но бороться с холодом, с усталостью, с лишениями — тоже бой, где нужна отвага. И не вешаешь головы, не хнычешь... Вот это хорошо, солдат! Как фамилия?

— Ползунов, товарищ генерал... Я это самое и хотел, товарищ генерал...

— Знаменитая фамилия... Знаменитый был механик... Хотел... Почему же не сказал?

— Виноват, товарищ генерал. Просто не подумал.

— Солдату всегда надобно думать. Солдат умом должен воевать. Ну, Ползунов... буду тебя помнить. Хочу о тебе услышать. Ты меня понял?

— Понял, товарищ генерал.

Задумавшись, глядя под ноги, Панфилов медленно шел по дороге. Остановившись, он поглядел на Шилова и на меня.

— Тяжела жизнь солдата, — сказал он. — Слов нет, тяжела. Это всегда надо говорить солдату прямо, а если он врет, тут же его поправить.

Он помолчал, подумал.

— Не жалейте, товарищ Шилов, людей до боя, а в бою... берегите, берегите солдата в бою.

Это звучало не приказом. Это было больше, чем приказ: завет. Меня проняло до дрожи. Но тотчас другим тоном — начальнически, строго — Панфилов повторил:

— Берегите... Других войск, других солдат у нас тут, под Москвою, сейчас нет. Потеряем этих — и нечем держать немца.

Попрощавшись, он взял повод, взобрался на седло и тронул рысью по обочине.

БОЙ НА ДОРОГЕ

1

По указанию Панфилова я выехал с капитаном Шиловым в район стыка; мы осмотрели местность; договорились о согласованных действиях, о товарищеской помощи в бою.

Расставшись с капитаном, я возвращался к себе в штаб по берегу. После ночи, проведенной без сна, в тягостных раздумьях, после разговора с Панфиловым, когда нервная система была опять напряжена, я испытывал, как ни странно, не усталость, а удивительную легкость. В седле я сидел уже не грузно, как то было ночью; думы не придавливали. Казалось, легче бежала и Лысанка.

Вокруг было тихо. Не слышалось ни близкого, ни дальнего уханья пушек. В этот день, семнадцатого ок-

тября, затишье водворилось и там, слева от нас, где вчера рванулись немецкие танки, где вчера гремел бой.

До сих пор памятна эта тишина; памятно темное, как графит, небо; вязкое поле с мелкими лужами, отсвечивающими свинцовым блеском; памятна земля, которую, прорезая траншеи, выбрасывали лопатами бойцы — желтоватая глинистая земля Подмосковья.

Из-за этой глины я только что получил замечание от Панфилова: она выдавала расположение огневых точек, ее следовало тотчас убрать, расшвырять по полю, но в те минуты, в волнующей нервной тишине, я смотрел на нее — на эту землю, на полоски суглинка, — смотрел, навсегда запоминая.

За рекой виднелась черная мокрая дорога, исчезающая в недалеком лесу. Взбегая по береговому подъему, она — эта дорога, отмеченная телеграфными столбами, — пересекала линию батальона и мимо темных от дождя домиков села, мимо кирпичной приземистой церкви, вела туда, куда стремился враг, — к Волоколамскому шоссе, к Москве.

В душу запало все, что повстречалось по пути в то утро.

До сих пор помнится встревоженный, вопрошающий женский взгляд, который я на мгновение уловил, когда Лысанка легкой рысью шла через село, протянувшееся вдоль реки. Осталось в памяти лицо, немолодое, на котором прорезались морщинки, почерневшие от солнца, от ветра, от труда, с чуть выцветшими светло-синими глазами, — лицо русской крестьянки, русской женщины. Она будто спрашивала: «Куда ты? Какую весть несешь? Что с нами будет?» Она будто просила: «Скажи словечко, успокой».

А лошадь уже промчалась, и я уже видел какого-то красноармейца с котелком, наклонившегося к карапузу-мальчугану. Красноармеец выпрямился, я узнал лукаво-добродушную физиономию пулеметчика Блохи: его пулеметный расчет был расположен вблизи. Став сразу серьезным, сдвинув едва намеченные светлые брови, Блоха торопливо отдал мне честь. Вслед за ним, с таким же серьезным видом отдал честь и малыш.

Подобные сценки привычны: бывало, скользнешь взглядом и забудешь. Но тем утром и этот мальчик, «му-

жичок с ноготок», доверчивый к воину, к солдату, волновал, щемил душу.

А глаз уже заметил иное. В проулке, у палисадника, взявшись руками за штакетник, стояла девушка. С кем-то разговаривая, она смеялась. От крыльца, улыбаясь, к ней подходил политрук пулеметной роты Джалмухамед Бозжанов. У обоих играли глаза, играла молодость. Увидев меня, Бозжанов сконфузился и, став «смирно», четко козырнул. Ко мне повернулась и девушка. Ее взгляд мгновенно стал другим — таким же тревожным, вопрошающим, как и у женщины, что осталась позади.

И опять этот взгляд тронул сердце.

2

Миновав село, я подъехал к взводу лейтенанта Брудного. Красноармейцы, как и в других взводах, прорезали в земле ходы сообщения. Кто-то рубил грунт мотыгой, голый до пояса, несмотря на промозглую стылую погоду. Блестели, как лакированные, выпуклые потные плечи. Это был Курбатов, помощник командира взвода.

— Взялся сам, товарищ комбат, — сказал он. — Тут каменисто, надо пособить. Да и поразогреться.

Мускулистый, сильный, он свободно подставлял октябрьскому ветру обнаженную грудь. Я часто любовался и гордился этим моим воином, который был красив особой солдатской красотой. Но тут я сказал:

— Чего столько земли наворотили? За три километра видно. Давайте-ка быстро раскидайте, разровняйте это все. Где лейтенант?

Лейтенант Брудный, быстроногий, маленький, в хорошо подогнанной туго стянутой шинели, уже бежал ко мне. Он без запинки отрапортовал. Я сказал ему:

— Пусть люди заканчивают работу. Пусть всё замаскируют. Распорядитесь этим, товарищ лейтенант. А потом бегом ко мне, в штаб батальона.

Он быстро ответил:

— Есть, товарищ комбат.

Лейтенант Брудный был одним из двух командиров, избранных мною для выполнения задачи, намеченной на карте карандашом генерала.

На командном пункте в блиндаже меня встретил мой маленький штаб: начальник штаба лейтенант Рахимов и мой младший адъютант лейтенант Донских.

Рахимов доложил: ничего нового; противник по-прежнему не продвигается, по-прежнему не высылает даже разведывательных групп. С Рахимовым я занялся некоторыми срочными делами. Схема ложной позиции была у него вычерчена уже несколько дней назад. Я приказал немедленно копать ложную позицию, а работы на переднем крае прекратить, за исключением маскировки.

— Слушаю, товарищ комбат, — сказал Рахимов. — Разрешите исполнять?

— Да.

Он посмотрел на Донских.

— Вам, товарищ комбат, лейтенант Донских сейчас нужен?

— Нужен.

Рахимов откозырнул и вышел.

Вскоре, запыхавшись, с разгоряченными щеками, явился Брудный. Его смышленые быстрые глаза обежали блиндаж и остановились на мне с любопытством, с ожиданием. Донских что-то писал за столом.

— Донских! Идите-ка сюда! Захватите карту!

Его, моего адъютанта, комсомольца Донских, я решил назначить командиром другого усиленного взвода.

3

Я знаю: человек, побывавший в бою, кажется вам, как когда-то и мне, чуть необычным, чуть таинственным. Но они — Брудный и Донских — еще не участвовали ни в одном бою.

Оба были комсомольцами, оба окончили десятилетку и, проведя затем некоторое время в военной школе, стали лейтенантами.

При формировании дивизии Донских был назначен командиром роты, но потом смещен за мягкосердечие. Застенчивый, легко краснеющий, он не умел строго спросить с провинившегося. Требовательность, взыскательность, обязательные для командира, были ему не по натуре. Однако после того, как у Донских отобрали роту, он надолго погрустнел. Я понимал — ему мнилось: «Эх, не доверили тебе, комсомольцу Донских, вести роту в бой!» Его гордость, его самолюбие были задеты.

Двое суток назад, пятнадцатого октября, когда в ротах отбирали бойцов для ночного набега, Донских по-

дошел ко мне и, потупясь, сказал: «Разрешите и мне, товарищ комбат, с отрядом». Но туда, в дерзкую ночную атаку, был уже снаряжен мой старший адъютант, он же начальник штаба, Рахимов. Я коротко ответил: «Нет». Донских не сразу отошел. Может быть, следовало сказать: «Подожди, Донских, понадобишься, повоюешь». Но я промолчал. Промолчал и Донских.

Я имел время присмотреться к моему адъютанту Мне нравилась его гордость, его молчаливость, серьезность, с какой он исполнял поручения.

Теперь он опять стоял передо мной, протягивая карту. Всегда хочется видеть лицо, видеть взгляд того, кому ставишь задачу. Мы жили в одном блиндаже, и все-таки я не мог удержаться, чтобы не вглядеться еще раз в лицо своего адъютанта, очень чистое, с тонкой, будто девичьей, неогрубевшей кожей.

Мне нравился и Брудный. У меня он был, пожалуй, лучшим командиром взвода. Очень смышленый, ловкий, он успевал раньше других раздобыть поблизости разный подручный материал; в его взводе лопаты, топоры и пилы были всегда хорошо наточены; в работах его взвод обгонял соседей, и Брудному всегда хотелось,— кто не грешен?—чтобы я это заметил. В подобных случаях этот маленький хитрец был очень простодушен; его черненькие глазки, казалось, так и просили: «Похвали меня!»

Однажды мне довелось убедиться, что Брудный не трус. Стрелковые ячейки были закончены у него раньше, чем в других взводах. При осмотре мне показалось: лобовые накаты слабы. Я спросил Брудного: «Это, по-твоему, готово?» — «Да, товарищ комбат». — «Ты посадишь туда людей?» — «Да, товарищ комбат». Я взял у одного бойца винтовку, «Брудный, лезь туда!» Он понял, он побледнел. Я сказал: «Ты хотел туда, под пули, посадить людей. Лезь сам. Я буду стрелять». Еще мгновение поколебавшись, он повернулся на каблуке и спрыгнул во входную траншею. Я крикнул: «Стой! Отойди в сторону!» Он отошел. Я выстрелил. Пуля не прошла, не взяла накат. Брудный имел право гордиться. Его торжествующий взгляд, казалось, опять говорил: «Ну, что? Похвали же!» С той поры, с того четкого воинского поворота, мне полюбился этот черненький бойкий лейтенант.

— Садись, Брудный. Садись, Донских, — сказал я.

4

Донских положил карту. Мысленно я уже наметил пункты засад, но еще раз проверил себя по карте. Потом разъяснил задачу: притаиться у дорог, вцепиться и держаться там, не давая ходу немецким автоколоннам, немецкой артиллерии по дорогам; мелкие разведочные группы пропускать без выстрела, а колонну встретить залпами, встретить пулеметами. Ошарашив врага неожиданным огневым налетом, засада сможет легко уйти.

— Однако, товарищи, не в этом ваша цель, — говорил я. — Наоборот, надо подождать, пока противник не оправится, не вступит в бой. Держитесь! Держите дорогу. Заставьте его развернуть против вас боевые порядки. Это первое. Понятно?

— Понятно, — неуверенно ответил Брудный.

Его физиономия, обычно очень подвижная, теперь утратила живость, стала сосредоточенной. Донских молчал.

— Понятно, Донских? — спросил я.

— Понятно, товарищ комбат. Стоять насмерть...

— Нет, Донских, не стоять, а действовать. Маневрировать. Нападать.

— Нападать? — переспросил Брудный.

— Да. Напасть из засады. Перебить огнем, сколько возможно, гитлеровцев. Затем выждать. Пусть противник развернется, вступит в бой, отрядит силы, чтобы окружить вас. Тогда надо выскользнуть и опять в другом месте выйти на дорогу, упредив врага, вновь встав на его пути.

Я начертил на карте виток панфиловской спирали.

— Этим мы вынудим противника развернуться преждевременно, атаковать впустую, оставим в дураках. Потом, когда он опять двинется, надо второй раз нападать.

— Нападать? — снова проговорил Брудный.

Его физиономия стала опять смышленой, глаза блестели. Донских молча улыбался. Он тоже понял.

Оно, это слово «нападать», которое дал мне Панфилов, было каким-то волшебным. Оно сразу прояснило задачу, дошло до души, преобразило людей, придало смелости. Мне подумалось: это не только тактика, это что-то поглубже.

Мы поговорили о деталях. Брудный был возбужден. Получив толчок, его голова заработала. Он уже видел, как спрятать, как замаскировать людей.

Я сказал:

— Да, бойцы должны зарыться, замаскироваться. Говорю это особенно для тебя, Донских. В этом, Донских, никакой жалостливости.

Донских молча смотрел на меня. Я повторил слова Панфилова:

— Жалеть — значит не жалеть. Понятно?

Донских твердо ответил:

— Да, товарищ комбат.

Его синие глаза были уже не такими, как полчаса назад, — потемнели, стали строже.

О Родине, о Москве ничего не было сказано в нашем разговоре, но это стояло за словами, это жило в каждом из нас.

5

Лейтенанты ушли готовить взводы в путь. А я опять задумался. Вам удивительно? Решение найдено, приказ отдан, приказ уяснен, усвоен исполнителями, — что же осталось?

Остался бой.

Когда вы будете писать о войне, не упускайте, пожалуйста, из виду одной мелочи: на войне существует противник. И как ни странно, он не всегда делает то, что хочется вам.

Я чувствовал: бой ума с умом сегодня выигран нами, выигран Панфиловым. А дальше? Неужели немцы, как бараны, подставят себя под пули один раз, другой раз, третий раз? Что предпримет противник, после того как немецкий военачальник, надменный господин «великогерманец», окажет нам честь: призадумается?

На войне существует не один замысел, а два: не один приказ, а два. В бою чей-то замысел, чей-то приказ остается неисполненным. Почему?

Ответьте-ка мне, почему?

6

К сумеркам взводы были готовы к выступлению.

Группа лейтенанта Донских выстроилась у моста

через Рузу. Я верхом подъехал к бойцам. Их было немного — пятьдесят четыре человека, все с тяжестями на плечах. У четверых были ручные пулеметы; другие забрали в вещевые мешки запаянные цинковые коробки с патронами для пулеметов и винтовок; телефонисты взвалили на спины мотки провода; с бойцами уходили два санитара.

На правом фланге с винтовкой, как и все, стоял помощник командира взвода сержант Волков, по мирной профессии слесарь, вечно сумрачный, злой в службе. Позапрошлой ночью он, в числе сотни, ходил в Середу; убивал, как мне рассказывали, молча.

Я намеренно их соединил—юношу Донских с сорокалетним Волковым, про которого знали: он убьет и своего, если свой побежит перед немцем.

В ранних сумерках я всех узнавал в лицо. Многие впервые будут бить из винтовок по немцам, у многих затрепещет, замрет завтра сердце под первой обстрелкой.

Чем вас напутствовать, бойцы? Все уже сказано, что я мог вам сказать; все отдано, что мог вам отдать. А ну, на прощанье...

— Смирно! Пол-оборота нале-во! Заряжай! По одинокой елке, в макушку, пальба залпом... Взвод...

Мягким и грозным звуком щелкнули пятьдесят смазанных затворов. К плечам вскинулись винтовки. На береговом взгорке черным вырезанным силуэтом вырисовывалась в вечернем небе высокая сильная ель. Бойцы ждали исполнительной команды.

Я крикнул:

— Огонь!

Прокатилось: р-р-р-р... На мгновение возникла линия красноватых вспышек, озарившая штыки и концы стволов. Донесся треск перебитых веток, ломающихся и падающих в снег. Опять щелкнули затворы, опять замерли прижатые к плечам винтовки. Чернота хвои уже не была сплошной: обозначились смутные просветы там, где отлетели лапы.

— Огонь!

Опять вспыхнули красноватые жала, опять прогремел залп, опять падали тяжелые свислые ветки.

— Огонь!

После третьего залпа макушка нагнулась, как подрубленная, потом, задрожав, выпрямилась, опять стала

клониться, образуя тупой, медленно падающий угол. Повисев несколько секунд, она рухнула на нижние ветки и, обламывая их, пала наземь. Вместо острой вершины темнел в небе усеченный зазубренный конус.

Дав команду «К ноге!», я сказал:

— Хорошо стреляете!

Бойцы ответили, как и стреляли, враз:

— Служим Советскому Союзу!

— Вот так и бейте по немцу! Под команду, залпом! Чтобы смерть хлестала, а не моросила дождичком! Верьте, товарищи, своей винтовке! Лейтенант Донских, можете вести.

Из другого пункта я проводил взвод Брудного.

7

Я ожидал, что на следующий день, восемнадцатого октября, взвод Донских или взвод Брудного примет бой. Но ни восемнадцатого, ни девятнадцатого немцы не продвигались на нашем участке.

Обе засады затаились на опушках, соорудив подземные укрытия для продолжительного боя.

На верхушках сосен сидели наблюдатели, глядевшие в сторону немцев. Но обе дороги были пустынны. В установленные часы несколько раз в день Донских и Брудный сообщали по телефону: «Противник не показывается».

Весь центральный отрезок Волоколамского укрепленного района — не только мы, но и фронт соседних батальонов — не испытывал в эти дни никакого давления противника; немцы не высылали здесь даже групп разведчиков.

Но сбоку, из-за левого края полосы батальона, из-за лесов, куда убегала Руза, доходил непрестанный пушечный гром. Там сражалась наша противотанковая артиллерия. Туда, на левый фланг дивизии, Панфилов взял все зенитные пулеметы, в том числе приданные было моему батальону. Туда он перебросил одну роту из батальона, расположенного правее нас, приказав затянуть оставшимися силами оголенный участок. Ночью по заревам, днем на слух мы следили за перемещением линии боя. Ухание не приближалось. Напротив, оно временами будто удалялось, но удалялось в глубь нашего фронта, все круче заходя нам за спину.

В общих чертах я знал обстановку. Ось немецкого удара осталась той же, что была шестнадцатого. Подтянув силы, немцы продвинулись. Двумя-тремя дивизиями, в том числе и танковой, они вырвались на мощеную дорогу Можайск—Волоколамск, на так называемую рокаду (запишите в скобках: рокадой именуется дорога, идущая параллельно линии фронта), на рокаду, пролегающую за нашими плечами. Вырвались и повернули на Волоколамск.

Наш батальон заслонял войска, дерущиеся на рокаде, от удара во фланг и в тыл. Но немцы не приближались к нам. По-прежнему меж нами и противником лежала пустынная промежуточная полоса шириной двенадцать-пятнадцать километров.

8

Двадцатого октября Донских позвонил в неурочный час.

— Товарищ комбат, идет грузовая машина. Немецкая пехота.

— Одна машина?

— Да.

— Пропусти.

Через несколько минут Донских снова вызвал меня.

— Товарищ комбат, показалась колонна машин. Тоже с пехотой.

— Сколько?

— Хвоста не видим. Пока десять. Виноват, сейчас передали: еще две.

— Ну, Донских... — сказал я.

— Не растеряйся? — закончил фразу Донских, и я в трубку услышал, как он перевел дыхание. — Так, товарищ комбат?

— Так.

— Есть, товарищ комбат. Не пропустим, товарищ комбат...

Донских ушел... А я по-прежнему прижимал к уху трубку. На другом конце провода, который был скрыт под землей, находился связной, который доносил мне о том, что происходило. Слух обострился. Я воспринимал не только слова, но и оттенки тона, каким они сказаны. В штабном блиндаже, за восемь километров от взвода, я будто видел то, что видел из окопа связной.

Длинные открытые грузовики медленно двигались по дороге, в эти дни опять схваченной морозцем, затвердевшей, чуть присыпанной ранним октябрьским снегом. На скамейках, устроенных по бортам и посреди кузова, сидели немецкие солдаты с винтовками и автоматами. Теперь это кажется почти невероятным, но тогда, под Москвой, в октябре тысяча девятьсот сорок первого года, немцы совершали наступательный марш иногда вот так: без разведки, без патрулей, без бокового охранения, с удобствами, в грузовиках, уверенные, что при встрече сумеют погнать «руса».

А «рус» лежал на опушке, не отрывая взгляда от людей в зеленоватых шинелях, в зеленоватых пилотках, кативших по нашей земле, как господа, — лежал, затаившись, сжимая взведенную винтовку, ожидая команды «Огонь!».

Показалось: в мембране что-то щелкнуло. У меня вырвалось:

— Ну, что там?

Щелкнуло еще раз.

— Что там? — повторил я.

— Стреляем, товарищ комбат. И я бью, товарищ комбат.

— Залпами?

— Да, по команде, товарищ комбат.

— А немцы?

Протянулось нестерпимо долгое молчание.

— Бегут! — выкрикнул телефонист. — Ей-богу, бегут...

Меня охватил восторг. Немцы бегут! Так вот, значит, как это совершается: вот как бегут на войне! Есть, значит, у нас сила, которая разит тело и дух, которая заставила немцев мгновенно позабыть дисциплину и гордость, позабыть, что они «высшая» раса, завоеватели мира, непобедимая армия. Эх, конницу бы сейчас! Вылететь бы на конях вдогонку и рубить и рубить, пока не опомнились, пока бегут.

Я упивался не только победой, но и тайной победы, которая открывалась уму. Есть у нас сила! Имя ее... Нет, в тот момент я еще не умел назвать ее по имени.

9

Через некоторое время Донских сообщил по телефону: в первые минуты засада перебила около сотни гит-

леровцев, втрое или вчетверо больше уцелело; отскочив, немцы восстановили порядок; развернулись, залегли, вступили в огневой бой.

— Хорошо. Что и требовалось доказать, — сказал я. — Поиграй с ними. Пусть потопчутся. Людей спрячь. Но гляди по сторонам.

По телефонным донесениям я следил за боем. Сначала немцы открыли ответную пальбу из автоматов, винтовок, пулеметов, затем против взвода стали действовать минометы. В этом было тогда одно из преимуществ гитлеровской армии — масса минометов. Мотопехота возила с собой минометы на грузовиках, сложенные, как дрова.

Бойцы ушли в укрытия. Немецкая разведка, приблизившаяся к лесу после двухчасового обстрела, была встречена огнем. Взвод жил. Взвод держал дорогу.

Я по телефону сообщил командирам рот о ходе боя и приказал немедленно довести эту информацию до бойцов, чтобы они знали, как их товарищи бьют немцев.

Командир второй роты Севрюков, неторопливый сорокалетний лейтенант, ответил:

— Бойцы уже знают, товарищ комбат.

— Откуда?

— Действует, товарищ комбат, беспроволочный солдатский телефон.

Чувствовалось: Севрюков говорит с улыбкой.

— Что за телефон?

— Прибыли, товарищ комбат, раненые. И рассказывают наперебой. Я удивляюсь, товарищ комбат...

Севрюков подумал, прежде чем высказать мысль. Я слушал его тоже с улыбкой, с интересом.

— Я удивляюсь, товарищ комбат... Люди ранены, ведь это страдание, боль, а все веселые. «Мы, — говорят, — им дали». И знаете? От этого будто и боль меньше... Вот, товарищ комбат, оказывается, и раненые могут поднять дух.

— Сколько прибыло раненых?

— Четверо... они хотя и перевязаны, а все-таки надо бы им скорее на медпункт. А не отправишь: рассказывают, рассказывают, как воевали.

Радость, которая звучала в его голосе, трепетала, билась и во мне. Я положил трубку.

Встал мой начальник штаба, худощавый, быстро соображающий, немногословный Рахимов.

— Разрешите, товарищ комбат, сходить к раненым, уточнить обстановку.

— Да. Идите.

10

Через некоторое время меня вновь вызвал к телефону Донских. Он сообщил, что с флангов немецкой цепи отделились две группы человек по сорок, явно намереваясь обойти взвод, окружить. Донских говорил встревоженно. Я понимал: ему страшновато, ему хочется спросить — не пора ли отскочить, но он, мой застенчивый, гордый Донских, все-таки не спрашивал.

— Ничего, Донских, -- говорил я. — Отряди бойцов, чтобы следили. Подвернется случай — пусть полоснут огнем. Не бойся. Они сами тебя боятся.

Следующее донесение Донских было таково:

— Товарищ комбат, стреляют с трех сторон. Кричат: «Рус, сдавайся!»

— А ты?

— И мы стреляем.

— Хорошо. Подержи их, Донских.

На этот раз он выговорил:

— Товарищ комбат! Могут окружить...

— Ничего, Донских. Дело к вечеру. В темноте выйдешь. Держись, дорогой!

У меня нечаянно слетело это слово. Я говорил с ним, с голубоглазым Донских, не по уставу, а по сердцу.

Вы, может быть, думаете: чего Донских волновался? Он, может быть, кажется вам немужественным, слабонервным. Но поймите же: он находится не за письменным столом, не за мирным станком, не на учебном поле. Его окружала смерть. Он слышал ее свист, он видел ее — немцы стреляли трассирующими пулями; она летела с разных сторон красными и голубыми светляками; она проносилась и проносилась рядом, чуть не задевая, и сердце трепетало вопреки разуму, вопреки воле. Он был не механизмом, не бесчувственным пнем, не слитком из железа. Он переживал первый бой — небывалый критический момент в жизни человека.

За восемь километров я ощущал его трепещущее сердце. Душевная сила, которую я, скорее по инстинк-

ту, чем осознанно, стремился в нем поддержать, от него, офицера ближнего боя, передавалась бойцам.

И вдруг, именно вдруг, как-то совсем неожиданно, Донских взволнованно сообщил: немцы отошли. Сперва не поверилось. Но окошечко штабного блиндажа было уже темным: день кончился. Вскоре Донских подтвердил: да, постреляли, покричали и отошли, забирая под прикрытием сумерек трупы.

Это был маленький бой, но меня бил озноб счастья; хотелось смеяться, хотелось вскочить на коня и помчаться туда, к Донских, к бойцам, к нашим героям.

Ночью взвод лейтенанта Донских переменил позицию.

«ТЫ ОТДАЛ МОСКВУ!»

1

На следующее утро опять глухо зарокотали пушки у нас за плечами, в глубине.

А перед фронтом батальона было тихо. В установленные часы Донских и Брудный докладывали: дороги пустынны. Там, далеко впереди, наблюдатели, как и вчера, с высоких деревьев высматривали немцев.

Я ждал неурочного звонка. Он раздался. Дежурный телефонист сказал:

— Товарищ комбат, оттуда...

Телефонист жил одной жизнью с нами; пояснения не были нужны: я понял откуда.

— Слушаю.

— Товарищ комбат, вот так штука: конные немцы... Едут по дороге.

Я узнал быстрый говорок Брудного. Пришел, видимо, его черед. Взвод Брудного, как вы знаете, затаился на другой дороге.

— Сколько?

— Человек двадцать.

— Пропусти.

Следом за кавалеристами появилась группа на мотоциклетах. Сегодня враг действовал осторожнее: выслал головные дозоры. Но бойцы были искусно спрятаны в леске.

Придорожный лесок, где немцев подстерегал взвод

Брудного, был небольшой. Однако невдалеке, приблизительно в полукилометре, находилась другая роща, куда, выбрав момент, легко было перебежать, чтобы затем ускользнуть от врага, опять выйти на дорогу.

Через час немцы на конях и на мотоциклетах проехали назад — дорога до реки для них была свободна.

Вскоре Брудный доложил, что показалась колонна грузовиков с пехотой. Сочтя путь разведанным, немцы двигались, как и вчера, в автомобилях, без бокового охранения.

— Изготовился? — спросил я.

— Да, товарищ комбат. Мы готовы.

— Подпусти и нападай! Действуй спокойно.

В трубке прозвучал твердый и серьезный голос:

— Есть, товарищ комбат.

О происходящем мне опять сообщал связной. И на этой дороге повторилось вчерашнее. Залп из засады. Другой... Третий... И опять, соскакивая с машин, немцы побежали, мгновенно забыв все, чему их учили: забыв о команде, о дисциплине, превратившись в охваченную паникой толпу.

Я допытывался у телефониста, который из далекого леса доносил, как идет бой:

— Бегут ли? Или залегли? Отвечай точно!

— Бегут, товарищ комбат... Ох, и прытко! Мы, товарищ комбат, сейчас опять их резанули.

Еще вчера я задумался об этом. Как немцам следовало бы вести себя, попав под внезапный залповый огонь? Немедленно лечь, вжаться в землю, открыть бешеный ответный огонь. Казалось бы, даже без всякой команды это должен был бы диктовать каждому инстинкт самосохранения. Но какая-то сила парализовала сообразительность, отнимала рассудок, творила странные штуки с врагом, делая его легкой добычей смерти.

В те дни, в наших первых боях, я схватывал умом, постигал эту силу. Не спешите. Придет срок, мы назовем ее по имени, мы потолкуем о ней.

2

В самом начале боя прервалась связь со взводом Брудного.

Связисты, посланные проверить линию, вернулись, наткнувшись на немцев. Я с пристрастием расспросил

связистов, не понимая, что произошло. Противник обстрелял их из села, расположенного на дороге. Связисты не знали, сколько там немцев, прошли ли туда машины.

Странно. Тревожно. Где же наш взвод? Что с нашим взводом? Неужели окружен? Неужели Брудный — такой находчивый, смышленый — упустил момент, когда следовало выскользнуть?

Что делать? Я не брошу своих на погибель. Но как помочь? Чем? Потянуло, сильно потянуло самому взять взвод и прокрасться на выручку своим. Нет, не имею права: у меня батальон, у меня восемь километров фронта, я обязан быть здесь.

Скрепя сердце я старался хладнокровно рассуждать. Предположим взвод окружен. Но разве мои пятьдесят бойцов, пятьдесят сынов, сдадутся? Поднимут руки? Нет, будут драться за жизнь. Я верил в это, верил бойцам, командиру. У них винтовки, у них четыре ручных пулемета, вдоволь патронов. А ну, попробуй-ка, враг, подступись!

Я отправил на выручку полувзвод пешей разведки. Полувзвод! Такими силами мы тогда воевали. Командиру я приказал: «Подойди незаметно, не лезь напропалую, действуй с умом, с выдержкой, дождись темноты, в темноте свяжись с Брудным, помоги ему».

Брудному я велел передать: пробившись, пусть опять выходит со взводом на дорогу, как ему приказано; пусть завтра из другой засады снова встретит немцев огнем.

3

Отпустив командира, я вышел из блиндажа под мглистое, низко нависшее небо. До сумерек оставалось часа два. Не хотелось видеть людей, разговаривать. Не думалось ни о чем, кроме как об отрезанном взводе, о пятидесяти бойцах, что борются в придорожном лесу.

Я медленно шагал к реке. В поле красноармейцы поднимали стылую землю, подтаскивали лес, возводя ложную позицию. Не захотелось подходить и туда. Издали показалось: копают с роздыхом, копаются... Скорее! Наши люди, пятьдесят бойцов, держатся, дерутся за рекой, отвоевывая для нас эти часы, эти минуты, приковывая врага. Я чувствовал: подойду — и напряжение прорвется, накричу на виноватого и неповинного.

Ухо пыталось уловить, не донесутся ли из-за реки хлопки немецких минометов? Нет, там тихо. А вдруг там все уже кончено? И я никогда не увижу моего Брудного, моего Курбатова, других.

Впоследствии, загрубев на войне, сердце не часто томилось и болело так.

Вернувшись в блиндаж, я ждал разведчиков, ждал вести.

— Товарищ комбат, вас, — произнес телефонист.

Звонил командир второй роты лейтенант Севрюков. Он доложил:

— Товарищ комбат! Взвод лейтенанта Брудного вырвался из окружения.

4

Я быстро спросил:

— Откуда вы знаете?

— Как откуда? Они, товарищ комбат, здесь.

— Где?

— Так я же докладываю, — Севрюков говорил со свойственной ему неторопливостью, которая подчас бывала для меня пыткой, — я докладываю, товарищ комбат, здесь. Вышли в расположение роты.

— Кто?

Я все еще не понимал, или, вернее, уже понял, но...

Но, может быть, сейчас, сию минуту все разъяснится по-другому, Севрюков ответил:

— Лейтенант Брудный... и бойцы. Те, которые вернулись. Шестеро убиты, товарищ комбат.

— А немцы? А дорога?

Вопрос сорвался с языка, хотя к чему было спрашивать? Ведь ясно же... Дошел ответ Севрюкова: дорога захвачена врагом. Я молчал. Севрюков спросил:

— Товарищ комбат, вы у телефона?

— Да.

— Позвать, товарищ комбат, к телефону Брудного?

— Не надо.

— Пусть идет к вам?

— Не надо.

— А что же?

— Ждите меня.

Положив трубку, я не сразу встал.

5

Так вот оно — самое страшное.

Страшна была не потеря дороги. К этому я был подготовлен. По нашему же тактическому замыслу это должно было случиться завтра-послезавтра.

Но сегодня мой лейтенант, мой взвод, мои бойцы отошли, бросив дорогу без приказа. Бежали!

Через несколько минут я подъехал верхом к командному пункту второй роты. Недалеко отсюда трое суток назад, в памятных сумерках, я провожал бойцов. И теперь были сумерки. Но тогда, трое суток назад, меня встретил строй. Теперь вернувшиеся красноармейцы устало сидели и лежали на земле, покрытой ранним снегом.

У блиндажа, — у покатной горбинки, теряющейся в неровностях берега, — стояла группа командиров. Кто-то, маленького роста, отделился от группы и побежал ко мне. На бегу он подал команду:

— Встать! Смирно!

Это был Брудный. Добежав, он четким движением отдал честь и вытянулся передо мной.

— Товарищ командир батальона... — взволнованно начал он.

Я перебил:

— Лейтенант Севрюков! Ко мне!

Севрюков тяжеловато подбежал.

— Кто здесь у вас старший начальник?

— Я, товарищ комбат.

— Почему же не вы командуете? Почему взвод не выстроен? Что за кабак? Всем выстроиться! Командирам тоже!

Подошел Бозжанов. Он тихо спросил по-казахски:

— Аксакал, что произошло?

Я ответил по-русски:

— К вам, товарищ политрук, не относится приказ? В строй!

Несколько секунд Бозжанов стоял, подняв ко мне полноватое лицо. Он явно хотел что-то сказать, но не решился. Он понимал, что я сейчас не приму, не потерплю успокоительного слова.

Строгая линия строя зачернела на снегу. Было тихо. Лишь издали, из глубины, с востока, доходила глухая канонада. Я подъехал к строю. На этот раз рапортовал

Севрюков. Рядом, напряженно вытянувшись, стоял Брудный. Я повернулся к нему:

— Докладывайте.

Он заговорил торопливо:

— Товарищ комбат, сегодня усиленный взвод под моей командой уничтожил около ста фашистов, но нас окружили. Я принял решение: атаковать, пробиться...

— Хорошо. А почему вновь не вышел на дорогу?

— Товарищ комбат, за нами гнались...

— Гнались?

Я со злобой, с ненавистью выкрикнул это.

— Гнались? И у тебя повернулся язык оправдываться этим? Враг объявил, что будет гнать нас до Урала. Так и будет, что ли, по-твоему? Мы отдадим Москву, отдадим нашу страну, прибежим к семьям, к старикам, к женщинам и скажем: «За нами гнались...» Так, что ли? Отвечай.

Брудный молчал.

— Жаль, — продолжал я, — что тебя не слышат женщины. Они надавали бы тебе пощечин, они оплевали бы тебя. Ты не командир Красной Армии, ты трус.

Из глубины опять дошел глухой пушечный рокот.

— Слышишь? Немцы и там, позади нас. Там враг пробивается к Москве. Там дерутся наши братья. Мы, наш батальон, прикрываем их здесь от удара сбоку. Они верят нам, верят — мы устоим, не пропустим. А я поверил тебе. Ты держал дорогу, ты запер ее. И струсил. Бежал. Думаешь, ты оставил дорогу? Нет, ты отдал Москву!

— Я... я... я думал...

— У меня с тобой разговор кончен. Иди.

— Куда?

— Туда, где твое место по приказу.

Я показал за реку. Голова Брудного дернулась, словно он хотел посмотреть назад, куда указывала моя рука. Но он сдержал это движение, он продолжал стоять передо мною смирно.

— Но там, товарищ комбат... — хрипловато выговорил он.

— Да, там немцы! Иди к ним! Служи им, если хочешь! Или убивай их! Я не приказывал тебе явиться сюда! Мне не нужен беглец! Иди!

— Со взводом? — неуверенно спросил Брудный.

— Нет. У взвода будет другой командир! Иди один!

Командир батальона по-разному может применить власть к офицеру, не выполнившему боевого приказа: послать его снова в бой, отрешить от должности, предать суду и даже, если требуется обстановкой, расстрелять на месте... А я... Я тоже вершил суд на месте. Это был расстрел перед строем, хотя и не физический, — расстрел командира, который, забыв воинскую честь, бежал вместе с бойцами от врага. За бесчестье я карал бесчестьем.

А Брудный все еще стоял перед безмолвной шеренгой, словно не понимая, что разговор действительно кончен, что я выгнал его из батальона. Для него это была страшная минута. Он был комсомолец; он, конечно, не раз думал о войне, о смерти; знал, что в бою, может быть, придется отдать жизнь за Родину; мечтал быть храбрым, мечтал о большом счастье победы и наряду с этим о наградах, о славе, о маленьком, но ему невыразимо дорогом собственном счастье.

Но пришла настоящая пора, разразился настоящий бой, и он, комсомолец, Брудный, лейтенант, командир взвода, бежал со своим взводом. И суд его свершен — без прений, без голосований, не на заседании комсомольского бюро, а на поле войны, — свершен единовластным военачальником, командиром батальона. И мечты перечеркнуты. Он, Брудный, спас жизнь, но жизни для него уже не было; ему брошено перед строем позорное слово «трус», ему объявлен приговор: изгнать!

Он, стоял, будто, все это — что, быть может, пострашнее смерти — еще не дошло до него, будто ожидая какого-то моего последнего слова. Но я молча в упор смотрел на него. Я был в ту минуту как каменный. В душе не шевельнулась жалость. Меня поймут те, кто воевал; в такие минуты ненависть выжигает как огнем иные чувства, что ей противоречат.

Брудный понял: сказано все. У него достало силы поднести руку к козырьку.

— Есть, товарищ комбат!

Выговорив, он повернулся по-военному, через левое плечо, на каблуке. И пошел, все убыстряя шаг, будто торопясь уйти к мосту через Рузу, во мглу, где на ночь притих враг.

6

Кто-то отделился от черной стены взвода и побежал за Брудным. Все услышали:

— Товарищ лейтенант, я с вами...

Я узнал этот силуэт, эту плечистую высокую фигуру с полуавтоматом на ремне, этот голос.

— Курбатов, назад!

Он остановился.

— Товарищ комбат, и мы виноваты.

— Кто позволил выбегать из строя?

— Товарищ комбат, туда нельзя одному. Там...

— Кто позволил выбегать из строя? На место! Если надо, обратись ко мне, как положено обращаться к командиру в Красной Армии.

Вернувшись в строй, Курбатов произнес:

— Товарищ комбат, разрешите обратиться!

— Не разрешаю! Здесь не митинг! Я знаю: бежали и вы вместе с командиром. Но за вас отвечает командир. Если он приказывает бежать, вы обязаны бежать! Все меня слышат? Если командир приказывает бежать, вы обязаны бежать. Отвечает он. Но когда командир приказывает «Стой!», то и он сам и каждый из вас, каждый честный солдат, обязан убить того, кто побежит. Ваш командир не сумел взять вас в руки, остановить вас, перестрелять на месте тех, кто не подчинился бы ему. Он расплатился за это.

Из мглы, где скрылся Брудный, вдруг, как темный призрак, опять показался он. Вместе с вновь вспыхнувшей ненавистью я почувствовал теперь презрение. Что он, пришел упрашивать? Струсил и тут?

— Чего тебе?

— Товарищ комбат, примите документы.

— Что у тебя?

Чуть запнувшись, Брудный ответил:

— Комсомольский билет. Командирское удостоверение, письма.

Я вызвал Бозжанова.

— Товарищ политрук, примите документы.

Брудный вытащил из-за борта шинели тонкую пачку бумаг и протянул Бозжанову.

— Аксакал, — чуть слышно шепнул мне Бозжанов. Ничего больше он не произнес, но умолял и одним этим словом. Брудный стоял, не поднимая головы. Мне

показалось: это хитрость труса. Он, наверное, на это и рассчитывал, возвращаясь: комбат вызовет политрука, политрук заступится. Подумалось: «Так ты хитришь здесь, а не с врагом? Я хотел дать тебе возможность спасти честь, но если ты снова струсил, тогда черт с тобой, погибай без чести!»

— Брудный, — сказал я, — можешь оставить документы при себе. Туда можешь не ходить. Вот тебе другая дорога.

Я указал тропинку, ведущую в тыл.

— Иди в штаб полка... Доложи, что я выгнал тебя из батальона, что предал суду... Оправдывайся там.

С едва слышным свистящим звуком, похожим на всхлипывание, Брудный глотнул воздух.

— Товарищ комбат, я... я докажу вам.. Я убью... — Теперь его голос дрожал, теперь прорвалось то, что он сдерживал. — Я убью там часового... Я принесу его оружие, его документы... Я докажу вам...

Я слушал, и уходила, исчезала ненависть. Хотелось шепнуть, чтобы уловил только он: «Молодец, молодец, так и надо!» Душа дрогнула, душу пронзила любовь. Но об этом никто не узнал.

— Ступай, куда хочешь! Мне ты не нужен.

— Возьмите, товарищ политрук, — произнес Брудный.

Бозжанов засветил электрический фонарик: луч скользнул по смуглому осунувшемуся лицу Брудного: глаза казались ввалившимися, скулы заострились, на них горели пятна румянца. Потом свет упал на пачку бумаг. Бозжанов взял их. Фонарик погас.

Повернувшись, Брудный быстро пошел. Я крикнул:

— Курбатов, дай лейтенанту полуавтомат!

Это единственное, что я мог для него сделать. Я отвечал за стойкость батальона, за рубеж — рубеж в душах и по берегу Рузы, — что заслонял Москву.

ЕЩЕ ОДИН БОЙ НА ДОРОГЕ

1

Вернувшись в штабной блиндаж, я вызвал к себе Курбатова.

Он вошел хмурый. Враги гнали среди других и его, этого человека с гордой посадкой головы, красивого,

сильного и, казалось бы, смелого. Почему? Почему так случилось? Это я обязан был знать.

— Рассказывай, — приказал я, — что с вами там произошло? Почему бежали?

Курбатов отвечал скупо. Во время перестрелки с залегшими немцами раздалась трескотня автоматов сзади, совсем близко. Из-за деревьев, в спину бойцам, полетели трассирующие пули. Брудный крикнул: «За мной!», и взвод с винтовками наперевес кинулся из леса в соседнюю рощу, как это было заранее намечено. Но вдруг и оттуда, навстречу бойцам, затрещали выстрелы. Кто-то упал, кто-то закричал. Люди шарахнулись в сторону и с этой минуты уже не могли остановиться. Их все время настигали трассирующие пули; немцы, стреляя, шли следом; на военном языке зовется «на плечах».

Я спросил:

— Сколько же их было, этих автоматчиков, которые вас гнали?

Курбатов мрачно ответил:

— Не знаю, товарищ комбат.

— Может быть, дюжина? Или поменьше?

Курбатов молча смотрел вниз.

— Ступай, — сказал я.

2

Курбатов ушел.

Что же переживал он, мой солдат? Я видел: ему было стыдно.

Стыд... Задумывались ли вы над тем, что это такое? Если на войне будет убит стыд солдата, если замолкнет этот внутренний осуждающий голос, то уже никакая выучка, никакая дисциплина не скрепят армию.

Настигаемый пулями, Курбатов бежал вместе с другими. Страх кричал ему в уши:

«Ты погиб, твоя молодая жизнь пропала; тебя сейчас убьют или изуродуют, искалечат навсегда. Спасайся, прячься, беги!»

Но звучал и другой властный голос:

«Нет, остановись! Бегство — низость и позор! Тебя будут презирать как труса! Остановись, сражайся, будь достойным сыном Родины!»

Как нужна была в момент этой отчаянной внутрен-

ней борьбы, когда чаша весов попеременно склонялась то в одну, то в другую сторону, когда душа солдата раздиралась надвое, — как нужна была в этот момент команда! Спокойный, громкий, повелительный приказ командира — это был бы приказ Родины сыну. Команда вырвала бы воина из когтей малодушия; команда мобилизовала бы не только то, что привито воинским обучением, дисциплиной, но все благородные порывы — совесть, честь, патриотизм. Брудный растерялся, упустил момент, когда мог, когда обязан был дать команду. Из-за этого взвод разбит в бою. Из-за этого честный солдат теперь стыдится посмотреть мне в глаза.

3

Командир взвода ответил за свою вину.

А я? Ведь за все, что совершилось и совершится в батальоне, за каждую неудачу в бою, за каждый случай бегства, за каждого командира и бойца отвечаю я. Мой взвод не исполнил боевого приказа — значит, боевого приказа не исполнил я.

Сообщив по телефону о случившемся в штаб полка, дав требуемые разъяснения, я положил трубку и... и стал держать ответ перед беспощадным судьей — перед собственной совестью, собственным разумом. Я обязан был доискаться: в чем моя вина? Не в том ли, что во главе взвода мною был поставлен негодный командир? Не в том ли, что я заблаговременно не понял, что он трус? Нет, это не так. Сумел же он даже после бегства, после казни перед строем вновь пробудить любовь в моем сердце, сумел показать, что в нем жива честь.

Что же там, под пулями, стряслось с ним? Почему там он забыл о долге и власти командира? Может быть, поддался трусости других? Нет, я не верил, что мои солдаты трусы. Тогда, может быть, я плохо их подготовил? Нет, и этой вины я за собой не знал.

Истина проступала, приоткрывалась уму лишь постепенно, в неотчетливых и грубых очертаниях.

Ведь еще несколько дней назад, когда я ставил лейтенанту задачу, мне подумалось: неужели немцы, как бараны, один раз, другой раз, третий раз, так и будут подставлять головы под наши залпы? Но тогда я не сделал никакого вывода из этой промелькнувшей мысли; я счел противника глупее, чем он оказался.

Очевидно, уже после первого боя на дороге мы заставили немецкого военачальника поразмышлять, заставили раньше, чем я предполагал. На случай встречи с засадой у него, очевидно, уже был какой-то план, которого я заблаговременно не разгадал. Он внезапностью ответил на внезапность. Он обратил в бегство и погнал мой взвод, моих солдат таким же самым средством — неожиданным огнем почти в упор, от которого бежали, охваченные паникой, и его солдаты.

Сегодня он победил, погнал меня, — в мыслях я употребил именно это слово: «меня», — но не потому, что его офицеры и солдаты были храбрее или лучше подготовлены. И не числом он одолел меня, — против числа, по нашему тактическому замыслу, можно было бы долго воевать малыми силами, — а, в свою очередь, замыслом, тактическим ходом, умом.

Да, я мало думал вчера! Я был побит до боя. Вот моя вина.

4

Я вглядывался в карту, воспроизводил воображением картину боя, картину бегства, стремился разгадать, как он, мой враг, немецкий военачальник, это подготовил, как осуществил.

Мои бойцы бежали. Враг заставил их бежать, враг гнался за ними. Мысленно я видел это, всматривался в это. Я видел, как они спешили, задыхаясь, подхлестываемые светящимися кнутиками трассирующих пуль, подхлестываемые смертью; видел, как за ними гнались немцы, стреляя на бегу, тоже запыхавшиеся, вспотевшие, увлеченные преследованием. Сколько было там, на пути бегства, перелесков, кустарников, овражков! Скрыться бы где-нибудь, моментально залечь, повернуть все стволы в сторону врагов, подпустить их, торжествующих, захваченных азартом погони и хладнокровно расстрелять в упор.

Брудный не сохранил хладнокровия, Брудный утратил управление собственной душой и душами солдат: в этом его преступление.

Но я, комбат, обязан был еще вчера, до боя, подумать за него, предвидеть.

Противник овладел дорогой. Но пока одной. Другая еще не принадлежит ему. Там, переменив место засады,

немцев поджидает взвод Донских. Завтра противник попытается каким-нибудь приемом обратить в бегство, погнать и этот взвод.

5

Соединившись с Донских по телефону, я приказал ему, взяв охрану, явиться ко мне.

Часа через полтора он пришел.

Он выглядел как будто прежним. Кожа на лице и на руках была, как и раньше, девичьи нежной. Войдя, он зарделся легким румянцем. Но уже по его первому жесту, по первому слову я понял: Донских иной. Встретив мой взгляд, он улыбнулся: улыбка была знакомой, чуть сконфуженной, однако и новой — в ней проступила какая-то внутренняя сила, он будто сознавал свое право улыбаться. И движения стали увереннее, быстрее. Он свободнее, чем прежде, взял под козырек, свободнее доложил, что явился.

— Садись, — сказал я. — Доставай карту.

На карте, которую развернул Донских, место засады не было обозначено никакой пометкой. В таких делах тайну нельзя доверять карте. Но пункт первого боя — уже не секретный — Донских, словно для памяти, обвел красным кружком. Я взглянул туда. Мы оба знали: там было пройдено великое испытание духа; там была пережита великая радость победы, — оба знали и оба не вымолвили об этом ни слова.

— Видишь ли, Донских, — сказал я, — прошлый раз мы с тобой толковали вот о чем: пусть противник охватывает засаду. Это можно допустить. Но не попадаться в окружение.

Донских кивнул. Взгляд был понимающим. Я продолжал:

— Однако противник может окружить незаметно. Например, так... С этой стороны он тебя охватит. — Тупым концом карандаша я показал это на карте. — Тебе останется выход сюда. Ты выскользнешь, станешь уходить, а противник, незаметно заранее подобравшись, уже залег на пути, уже ждет, уже видит тебя. И встретит огнем в лицо. Что тогда?

— Что? — переспросил Донских. — В штыки!

— Ой, Донских... Штыком доставать далеко: перестреляет. Не заметаешься ли? Не побежишь ли?

Он чуть вскинул голову.

— Я, товарищ комбат, не побегу.

— Не о тебе одном речь. Люди не побегут ли?

Донских молчал, глядя на карту, думая, ища честного ответа.

— Конечно, Донских, надо бороться и в самом отчаянном положении. Но зачем нам попадать в такое положение? Пусть немцы попадутся. Штыком ты, Донских, убьешь одного, умом убьешь тысячу. Это, Донских, казахская пословица.

— А как, товарищ комбат?

Юношеские голубые глаза доверчиво смотрели на меня.

— Бежать! — сказал я. — Бежать, как хотят того немцы, в беспорядке, в панике! Минут десять-пятнадцать для виду повоюй и разыграй панику. Пусть гонятся! Игру будем вести мы. Не они погонят нас, а мы заставим их — понимаешь, заставим хитростью — погнаться. Придерживайся дороги. Скатись в этот овраг.— Я опять касался карты тупым концом карандаша. — Или выбери другое подходящее местечко. Там надо мигом спрятаться, залечь. Первая группа пусть пропустит немца. А вторая встретит их пулеметами и залпами в лицо. Они шарахнутся, кинутся назад. Тогда надо хлестнуть отсюда, опять в лицо, в упор. Взять между двух огней, перебить всех, кто гнался! Понятно?

Переживая в воображении этот бой, я взглянул на Донских с торжествующей, злорадной улыбкой. Донских не улыбнулся в ответ. По глазам я видел, что он уловил идею, но в глубине зрачков, словно застывших на миг, я прочел содрогание.

Я не сразу понял, что с ним.

Быть может, Донских на минуту испытал ужас перед бойней, перед кровавой баней, которую ему предстояло учинить.

Но ответил он твердо:

— Я понял, товарищ комбат.

Мы поговорили о разных подробностях. Затем я сказал:

— Растолкуй маневр бойцам.

Он переспросил:

— Маневр?

Это слово почему-то показалось ему странным. На-

верное, не то — не истребление врагов — связывалось у него до сих пор со словом «маневр». Но тотчас он ответил, как положено:

— Есть, товарищ комбат.

— Ну, Донских, все.

Он поднялся.

Этому юноше с нежным лицом, с нежной душой предстояло завтра заманить врага в западню и убивать в упор мечущихся, обезумевших людей. Я видел: он сумеет это сделать.

6

Казалось бы, я достиг того, чтобы опыт сегодняшней нашей неудачи стал предвестником завтрашней удачи.

На душе стало легче. Отпустив Донских, я лег, прикрылся шинелью, повернулся к стене, чтобы уснуть. Некоторое время работала мысль. Потом начала меркнуть.

Перед закрытыми глазами возникла топографическая карта, возникло внимательное лицо Донских. Тупым концом карандаша я касаюсь карты, я показываю ему: «Они побегут, кинутся сюда, здесь мы снова их встретим огнем!»

И неожиданно — это мгновение запомнилось мне страшно ярко — я увидел: карты касается чужой, не мой карандаш. Мой был простым, черным, а у этого лакированные красные грани, у этого остро зачиненное синее жало. И рука не моя. Рука белая, с рыжими светлыми волосиками не на молодой, но розоватой коже.

Взгляд скользнул от руки к лицу. Да, это был он, мой противник, немецкий командир с жестокими, острыми глазами. Обращаясь к кому-то, кто стоял рядом с ним, он произнес (я не понимаю их языка, но одновременно понимал,—во сне, а также в видениях, предшествующих сну, бывают эти странности), произнес слово в слово мою фразу: «Они побегут, кинутся сюда, здесь мы их снова встретим огнем». И на карте, под острием карандаша, я видел не овраг, не завтрашнюю западню для гитлеровцев, а линию моего батальона. Я напряг зрение, чтобы разглядеть, чтобы зафиксировать точку, куда указывал карандаш; я всем телом порывисто подался туда... И открыл глаза...

В блиндаже горела знакомая керосиновая лампа. В углу у телефона сидел телефонист.

Я опять повернулся к стене, опять стал засыпать. Вспомнилось лицо Брудного, на миг освещенное фонариком: страдальческое, но не утратившее гордости, запавшие глаза, лихорадочные пятна на заострившихся скулах. Вспомнился задрожавший в последнюю минуту голос: «Я докажу... Я докажу вам». Потом что-то еще; потом все смешалось в неосвежающем, тягостном сне.

7

Утром, едва я поднялся, мой коновод Синченко с некоторой таинственностью доложил:

— Товарищ комбат, там,— он показал на дверь,— лейтенант Брудный... Ожидает, когда вы встанете.

— Зачем он здесь?

А сердце забилось. Вернулся? Исполнил то, о чем говорил напоследок?

Синченко торопливо говорил:

— Он ходил, товарищ комбат, до немцев. Принес автоматы. Сейчас сидит, ни с кем не разговаривает. Хочет лично к вам.

— Пусть войдет, — сказал я.

Синченко исчез. Через минуту дверь снова открылась. Ни слова не промолвив, со сжатыми губами, Брудный приблизился к столу, где сидел я, и положил два автомата, две немецкие солдатские книжки, письма, тетрадку, германские бумажные деньги и монеты. Его запавшие черные глаза глядели на меня, не прячась, но диковато, исподлобья.

Я хотел сказать: «Садись», — и вдруг почувствовал, что не могу произнести ни слова, что к горлу подкатился комок. Я взял папиросу, встал, подошел за спичками к шинели, хотя спички были и в кармане брюк. Закурил, постоял у окошка, вырезанного под бревенчатым накатом, посмотрел на стволы и корневища сосен, на снежок, кое-где, между деревьями, припорошивший землю. Потом повернулся и спокойно сказал:

— Садись, Брудный... Завтракал?

Брудный не ответил; в эту минуту не мог и он говорить. В дверь заглянул Синченко; подбежал ко мне, зашептал на ухо:

— Водки, товарищ комбат, к завтраку давать?

Он, мой коновод, мой славный Синченко, знал, как и все в батальоне, вчерашнюю историю. И теперь все понимал.

— Да, — сказал я, — налей чарку лейтенанту.

Мы завтракали вместе. Брудный рассказал про свои ночные странствия, про то, как убил двух немцев. В глазах, влажно блестевших после водки, нет-нет пробегали знакомые лукавые искорки.

— Но как же ты, Брудный, вчера-то? — спросил я.— Как ушел без приказа?

Он насупился, ему не хотелось говорить об этом.

— Вы же знаете...

— Не знаю.

Он произнес еще неохотнее:

— Вы же сказали...

— Струсил?

Он мотнул головой. Теперь, когда вчерашнее слово было повторено, ему стало легче говорить об этом.

— Сам не могу понять, товарищ комбат... Это было, как бы сказать... как кирпичом по голове... И как будто уже я — не я... Перестал соображать...

Он нервно передернул плечами.

— Как кирпичом? — переспросил я.

И передо мной вдруг вспыхнули слова, которых давно искала мысль. Удар по психике! В ту минуту я наконец-таки назвал по имени для самого себя тайну боя, тайну победы в бою.

Удар по психике! По мозгу! По душе!

Как ни странно, но эта минута, когда, казалось бы, ничего не произошло, осталась в памяти наряду с самыми сильными переживаниями войны.

Удар по психике! Но ведь не существует же никаких икс-лучей для воздействия на психику. Ведь война ведется орудиями физического истребления, ведь они, эти орудия, поражают тело, а не душу, не психику. Нет, и душу! И после того, как поражена психика, как сломлен дух, можно гнать, настигать, убивать, пленять толпы врагов.

Противник стремится проделать это с нами. Один раз, господин «великогерманец», у тебя это вышло со мною, с моим взводом. Теперь — хватит!

Брудному я сказал:

— Вот что... Взвода я тебе пока все-таки не дам. Но

немцев теперь, думаю, ты не боишься. Буду посылать тебя к ним. Назначаю заместителем командира взвода разведки.

Он радостно вскочил.

— Есть, товарищ комбат!

Я отпустил его.

Удар по психике! Ведь это известно с древнейших времен. И с древнейших времен это достигается внезапностью. И не в том ли искусство боя, искусство тактики, чтобы внезапностью ошеломить врага и предохранить от подобной внезапности свои войска?

Эти идеи не новы, их можно найти в книжках; но на войне они открывались мне заново после многих, нередко мучительных раздумий, после успеха и неудачи в бою. Они смутно маячили передо мной и в предшествующие дни. Но теперь наконец-таки тайна боя ясна!

Так мне казалось.

Однако в тот же день, несколько часов спустя, противник доказал мне, что я вовсе не все понял, доказал, что существуют и другие законы боя. А на войне, как известно, доказательства не те, что в логике или в математике. На войне доказывают кровью.

8

Вот что рассказали бойцы взвода Донских, которые вернулись из боя.

В этот день двадцать второго октября противник перед фронтом батальона, подтягивая артиллерию и грузы по захваченной дороге, возобновил также продвижение по другой, где позавчера засада Донских не пропустила немцев.

На этот раз немцы шли еще осторожнее: в пешем строю, рассредоточившись, стреляя из автоматов по придорожным опушкам и кустарникам. Машины порожняком медленно двигались вслед за солдатами.

Взвод Донских и тут встретил немцев залпами. Но враг теперь к этому был подготовлен. Немцы сразу легли. Затем, перебегая, стали охватывать взвод.

Здесь начинался наш замысел. Пришло время изобразить панику — удирать врассыпную, в беспорядке.

Немцы увидели бегущих: «А, рус бежит! Вперед!» Бойцы бежали, как и было задумано, не отдаляясь от дороги. Немецкие шоферы запустили моторы; солдаты

взбирались на двинувшиеся грузовики и, стоя в кузовах, стреляли на ходу, гнали наших с удобствами, в машинах.

Взвод скатился в овраг. Бойцы быстро залегли за кустиками, за бугорками по обеим сторонам дороги. Показались машины. Разгоряченные преследованием, немцы стреляли наугад, полосуя воздух светящимися пулями. «Где рус? Куда побежал? Вперед!»

И вдруг сбоку залп. И кинжальный огонь ручных пулеметов. Знаете ли вы, как бьют кинжалом? На близком расстоянии, внезапно, насмерть. Повалились убитые, раздались крики. Те шоферы, что не были пронзены пулями, выскакивали из кабинок, не успев затормозить. Машины сталкивались. А сбоку залп и залп, огонь и огонь.

Ошеломленные, охваченные страхом, немцы кидались с машин; немцы бежали, как стадо. А в спину — огонь, в спину — смерть!

И вдруг с той стороны, куда они, заслоненные машинами, уходили от пуль, снова удар смертью в лицо, снова залп, снова кинжальный огонь ручных пулеметов.

Вот тут произошло то, чего я не предвидел. Второй удар, вторая внезапность будто вернули врагам разум. Они сделали единственное, что могло их спасти от уничтожения: ревущей, взбешенной волной рванулись вперед, навстречу выстрелам, на них.

У немцев не было штыков. Они приучены ходить в атаку не со штыком наперевес, а прижав к животу автоматы и стреляя на ходу. Отчаяние ли придало им силу, овладел ли ими в критический момент их командир, но немцы, будто мгновенно вспомнив все, чему их учили, неслись на нашу реденькую цепь, выставив перед собою не штыки, а длинные светящиеся линии трассирующих пуль.

И внезапно все переменилось. В действие вступил один простой закон — закон числа, закон численного и огневого превосходства. Свыше двухсот разъяренных людей, рвущихся убить, мчались на наших. А у нас тут была горстка, половина взвода, двадцать пять бойцов.

В самом замысле боя, как понял я после, таилась ошибка. Нельзя, воюя малыми силами против больших, брать врага в объятья, бороться в обхват. Это был горький урок.

Что мог сделать Донских? В подобные страшные моменты мужество или вовсе покидает человека, или проявляется с небывалой силой.

Донских приказал отбегать по лощине в недалекий лес. А сам, прикрывая вместе с несколькими бойцами отход, остался у ручного пулемета.

Немцы, стреляя, приближались, но и Донских расстреливал их из пулемета, подкашивая одного за другим, закрывал лощину, закрывал кратчайший путь преследования. Он был ранен несколькими пулями, но продолжал стрелять, не чувствуя в горячке боя, что истекает кровью.

Позади Донских застрочил другой пулемет. Теперь сумрачный Волков, помощник командира взвода, прикрывал отход лейтенанта. Донских смог немного пробежать к своим, но, вновь настигнутый пулями, свалился. А Волков бил и бил короткими частыми очередями, не подпуская немцев к лейтенанту. Бойцы ползком вытащили своего командира, вынесли к лесу. Там лейтенанту Донских перевязали семь пулевых ран, к счастью, не смертельных. Сержант Волков — неразговорчивый, злой в службе и в бою, «правильный человек», как его называли солдаты, — был убит у пулемета.

9.

Так была захвачена немцами промежуточная полоса.

Конечно, не мне, командиру батальона, излагать общую оперативную обстановку под Москвой или хотя бы лишь на Волоколамском направлении.

Однако, нарушая в данном случае это наше правило, скажу очень кратко. Просматривая впоследствии документы о боевом пути панфиловцев, отобранные для музея, я прочел некоторые оперативные сводки штаба армии Рокоссовского, оборонявшей район Волоколамска. Сводка за двадцать второе октября гласила: «Сегодня к вечеру противник закончил сосредоточение главной группировки на левом фланге нашей армии и вспомогательной группировки против центра армии».

Против центра армии... В те дни на этом участке был наш батальон и два соседних с приданной нам артиллерией.

ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ ОКТЯБРЯ

1

Двадцать третьего октября утром, лишь стало светло, над нами появился немецкий самолет-корректировщик. У него скошены назад крылья, как у комара: красноармейцы дали ему прозвище «горбач».

Потом мы привыкли к «горбачам», научились сбивать: научили почтению — держись дальше, комар! — но в то утро видели «горбача» впервые.

Он безнаказанно кружил под облаками, по-осеннему низкими, порой задевая серую кромку, порой с затихшим мотором планируя по нисходящей спирали, чтобы высмотреть нас с меньшей высоты.

В батальоне не было противовоздушных средств. Я уже говорил, что зенитные пулеметы, приданные батальону, были переброшены, по приказу Панфилова, на левый фланг дивизии, где противник, нанося удар танками, одновременно вводил в бой авиацию. Мы в то время не знали, что самолеты можно сбивать и винтовочным залповым огнем — эта не очень хитрая тайна, как и много других, нам открылась потом.

Все следили за «горбачом». Помню момент: самолет взмыл, скрылся на миг за хмарью, вынырнул — и вдруг все кругом загрохотало.

На поле вздыбились, сверкнув пламенем, земляные столбы. Еще не распались первые, еще глаз видел медленно падающие рваные куски, вывороченные из мерзлой земли, а рядом вставали новые взбросы.

По звуку полета, по характеру взрывов я определил: противник ведет сосредоточенный огонь из орудий разных калибров; одновременно бьют минометы. Вынул часы. Было две минуты десятого.

Придя в штабной блиндаж, скрытый в лесу, выслушав донесения из рот, я доложил командиру полка по телефону: в девять ноль-ноль противник начал интенсивную артиллерийскую обработку переднего края по всему фронту батальона. В ответ мне сообщили, что такому же обстрелу подвергнут и батальон справа.

2

Было ясно: это артиллерийская подготовка атаки. В такие минуты у всех натянуты нервы. Ухо ловит

непрестанные удары, которые гулко доносит земля; тело чувствует, как в блиндаже вздрагивают бревна; сверху, сквозь тяжелый накат, при близких взрывах сыплются, стуча по полу, по столу, мерзлые комочки. Но самый напряженный момент — тишина. Все молчат, все ждут новых ударов. Их нет... значит... Но опять — трах, трах... И снова бухает, рвется, снова вздрагивают бревна, снова ждешь самого грозного — тишины.

Немцы — фокусники. В этот день, играя на наших нервах, они несколько раз прерывали на две-три минуты пальбу и опять и опять гвоздили. Становилось невмоготу. Скорей бы атака!

Но прошло полчаса, час и еще час, а бомбардировка продолжалась. Я, недавний артиллерист, не предполагал, что сосредоточенный комбинированный огонь, направленный против линии полевых укрытий, против нашей позиции, где не было ни одной бетонированной точки, может длится столько часов. Немцы выбрасывали вагоны снарядов — все, что, приостановившись, они подтянули сюда из глубины, — фундаментально кроша землю, рассчитывая наверняка разметать рубеж, измолотить, измочалить нас, чтобы затем рывком пехоты легко довершить дело.

Время от времени я разговаривал по телефону с командирами рот. Они передавали: скопления немецкой пехоты обнаружить нигде не удавалось. Часто рвалась связь. Осколки то и дело перерубали проволоку. Дежурные связисты под обстрелом быстро сращивали провод.

Среди дня, когда где-то — в который раз! — пересекло провод, вслед за выскользнувшим из блиндажа дежурным связи выбрался я взглянуть, что творится на свете.

Снаряды залетали и в лес. Что-то грохнуло в верхушках; ломаясь, трещало дерево, посыпались сучья. Захотелось назад, под землю. Но, мысленно прикрикнув на себя, я вышел на опушку. Над нами по-прежнему кружил «горбач». В заснеженном поле, изрытом воронками, затянутом пылью, кое-где густо-темной, по-прежнему в разных точках взлетала земля: то низко, в стороны, с красноватой вспышкой, когда с характерным нарастающим воем падала мина, то черным столбом, порой до высоты леса, — при разрыве тяжелого снаряда.

Через несколько минут нервы несколько обвыкли,

улеглась непроизвольная дрожь, ухо спокойнее воспринимало удары. И вдруг — перерыв, тишина. Нервы опять натянулись. Потом глухой хлопок в небе и резкий, пронзительный свист, подирающий по коже. Опять хлопок, опять режущий свист. Так рвется шрапнель. Я припал к дереву, вновь ощущая противную дрожь.

Оказывается, сделав минутный перерыв, немцы переменили комбинацию снарядов — комбинацию взрывов, звуков и зрительных эффектов. Теперь они посылали шрапнель и бризантные снаряды, рвущиеся в воздухе над самой землей со страшным треском, с пламенем. Бойцу, скрытому в стрелковой ячейке, такие снаряды почти неопасны — неопасны для тела, но немцы стремились подавить дух, бомбардировали психику. В те минуты, прильнув к дереву, я разгадывал это, я учился у противника.

Затем в поле опять стали рваться снаряды фугасного действия, вздымая черные смерчи земли и густую, будто угольную, пыль взрывчатки.

Тяжелый удар вскинул длинные бревна, до того скрытые под горбиком земли. В этот момент, конечно, торжествовал жужжащий над нами немецкий пилот-корректировщик.

Но злорадно улыбался и я. Удавалась наша военная хитрость. Противник разбивал ложную позицию.

Грибообразные, укрытые насыпью, занесенные порошей, по которой мы специально натаптывали тропинки, лжеблиндажи протянулись достаточно заметной линией вдоль реки.

А настоящие, где затаились бойцы, были, как вы знаете, выкопаны ближе к реке, в береговых скатах, и накрыты тремя-четырьмя рядами матерых бревен, вровень с берегом.

Ведя не только прицельный огонь, но и по площади, немцы молотили и берег, однако для поражения следовало попасть не в тяжелые верхние накрытия, а в лоб, в сравнительно слабый лобовой накат. Наша оборона была, как известно, настолько поневоле разрежена, что батальон нес лишь случайные, единичные потери.

3

Около четырех часов дня противник резко усилил огонь на участке второй роты, в районе села Новлянского, где пролегала дорога Середа—Волоколамск.

Сразу уловив это на слух и по сотрясениям, я позвонил командиру второй роты Севрюкову.

— Его нет.

Я узнал голос одного из связных — маленького татарина Муратова.

— Где он?

— Пополз на наблюдательный пункт.

— А ты почему не с ним?

— Он один, чтобы посекретнее. Он знает, товарищ комбат, тактику.

Муратов говорил бойко. В такие минуты особенно чутко воспринимаешь оттенки тона у солдат; читаешь это как боевое донесение.

Меня вызвали к другому телефону. Говорил Севрюков:

— Товарищ комбат?

— Да. Где вы? Откуда говорите?

— Лежу на артиллерийском наблюдательном... Гляжу в артиллерийский бинокль... Очень интересно, товарищ комбат...

Его и сейчас, под огнем, не оставила всегдашняя неторопливость. Я подгонял его вопросами:

— Что интересно? Что видите?

— Немцы скопились на опушке... Кишат, товарищ комбат, шевелятся. Офицер вышел, тоже в бинокль смотрит.

— Сколько их?

— Пожалуй, чтобы не соврать, батальон будет... Я думаю, товарищ комбат, надо бы их...

— Чего думать? К телефону Кухтаренко! Быстро!

— Я, товарищ комбат, это самое и думал...

Меня часто раздражала медлительная манера Севрюкова. И все-таки я не пожелал бы никого взамен этого командира роты, рассудительного Севрюкова, который в тот день не один раз прополз по страшному полю, побывал в окопах и у наблюдателей.

Трубку взял лейтенант Кухтаренко — артиллерист-корректировщик. Восемь пушек, приданных батальону, спрятанных в лесу, в земляных укрытиях, весь день молчали, не обнаруживая себя до решающей минуты. Она приближалась. Опушка, где немцы скопились для атаки, была, как и вся полоса перед фронтом батальона, заранее пристреляна. Мой план боя был таков: пустить в

ход затаившуюся артиллерию лишь в тот момент, когда ударная группа противника изготовится к атаке; стукнуть, как кирпичом по голове, ошеломить, рассеять, сорвать атаку.

Хотелось скомандовать: «По скоплению противника всеми орудиями огонь!» Но сначала следовало выпустить несколько поверочных снарядов, чтобы, наблюдая парения, подправить наводку, «довернуть», как говорят артиллеристы, соответственно направлению и силе ветра, атмосферному давлению, осадке под орудиями и множеству других переменных.

Для этого требовался кусочек времени — всего несколько минут.

Но помните ли вы загадку Панфилова о том, что такое время?

Знаете ли вы, что может случиться на войне в несколько минут?

4

Отдав приказание, я не опустил трубку, включенную в артиллерийскую сеть. Слышу, на огневые позиции идет команда:

— По местам! Зарядить и доложить!

Затем Кухтаренко — живое око скрытых в лесу пушек — указывает координаты. Чей-то голос повторяет. Теперь медленно поворачиваются орудийные стволы. А время идет, время идет...

Наконец слышится:

— Готово!

И следом команда Кухтаренко:

— Два снаряда, беглый огонь!

И опять молчание, нет уставных слов об исполнении, опять уходят секунды... Видимо, все-таки что-то не готово. Быстрее, быстрее же, черт побери! И вдруг это слово раздается в трубку. Кухтаренко кричит:

— Быстрее!

Я вмешиваюсь:

— Кухтаренко, что там?

— Немцы приготовляются, товарищ комбат, надевают ранцы, надевают каски...

И он кричит:

— Огневая!

— Я!

— Быстрее!

— Принимай! Выстрел! Выстрел! Очередь!

Среди непрестанных ударов, которые тупо бьют в уши, не различишь наших выстрелов, но снаряды выпущены, снаряды летят — пока только пристрелочные, пока только два. Кухтаренко сейчас увидит разрывы. Далеко ли от цели? А может быть, сразу — в точку? Ведь бывает же, бывает же так!

Нет! Кухтаренко корректирует:

— Прицел больше один. Правее ноль...

И вдруг сильный треск в мембране. И фраза перерублена.

— Кухтаренко!

Ответа нет.

— Кухтаренко!

Безмолвие... Правее ноль... Ноль девять? Ноль три? Или, может быть, ноль-ноль три?

У нас много снарядов, у нас восемь пушек, но в этот момент, когда они нужней всего, проклятая случайность боя сделала их незрячими.

Дежурный артиллерийской связи уже выбежал на линию, но время уходит.

Это не был, однако, обрыв связи. Несчастье оказалось тяжелее.

Меня позвали к другому телефону. С командного пункта второй роты опять говорил Муратов, маленький татарин, который весело отвечал несколько минут назад. Теперь голос был растерянным.

— Товарищ комбат, командир роты ранен.

— Куда? Тяжело?

— Не знаю... еще не принесли... Там и другие... Не знаю, убиты или ранены.

— Где там?

— На наблюдательном... Отсюда все пошли — выносить командира и других... а меня оставили... велели вам звонить.

— Что же там... произошло... на наблюдательном?

Я с усилием выговорил это, уже зная, что обрушилась страшная беда.

— Разбит...

Я молчал. Пообождав, Муратов жалобно спросил:

— Куда мне, товарищ комбат, теперь? С кем мы теперь?

Я ощутил сиротливость бойца, оставшегося без командира.

Вот-вот грохот сменится жуткой тишиной, вот-вот немецкая пехота, сосредоточенная для атаки, пойдет через реку, а наблюдательный пункт разбит, пушки ослепли и в роте нет командира.

Я сказал:

— Собери, Муратов, связных. Пусть передадут по взводам: лейтенант Севрюков ранен; на ротном командном пункте вместо него комбат. Сейчас буду у вас.

Положив трубку, я приказал начальнику штаба Рахимову:

— Немедленно свяжитесь с Краевым. Пусть явится принять от меня вторую роту.

Затем крикнул:

— Синченко! Коня!

5

Мы вскачь понеслись через поле: я на Лысанке, следом мой коновод Синченко. У Лысанки по-кошачьи поднялись тонкие просвечивающие уши; я ее гнал напрямик, натянув повод, не давая шарахаться от взрывов.

В мыслях билось: «Еще! Еще! Только бы не тишина! Только бы успеть!»

Навстречу из Новлянского вылетела военная тачанка. Повозочный нахлестывал лошадей. По бедру одной темной полосой стекала кровь.

— Стой!

Повозочный не сразу сдержал.

— Стой!

На заднем сиденье я увидел Кухтаренко. В очень бледное лицо крапинками впилась земля. Наискосок лба шла свежая вспухшая царапина с каемкой присохшей крови. На измазанной глиной шинели болтался артиллерийский бинокль.

— Кухтаренко, куда?

— На... на... — словно заика, он не мог выговорить сразу. — На огневую, товарищ комбат...

— Зачем?

— Наблюдательный пункт...

— Знаю! Я тебя спрашиваю — зачем? Бежишь? Назад!

— Товарищ комбат, я...

— Назад!

Кухтаренко посмотрел на меня слегка распяленными и словно неживыми глазами, в которых застыл ужас пережитого.

И вдруг под повелительным взглядом командира у Кухтаренко будто кто-то изнутри подменил зрачок. Вскочив, он заорал яростней, чем я:

— Назад!

И выругался в белый свет.

Мы помчались к селу. За мною, не разбирая дороги, подбрасывая по выбоинам тачанку, тяжело скакала пара артиллерийских коней.

Церковь, увенчанная колокольней, служила перевязочным пунктом. Снаружи, за стеной, укрывающей от обстрела, расположилась батальонная кухня. Командир хозяйственного взвода лейтенант Пономарев вытянулся, заметив меня.

— Пономарев, связь действует?

— Действует, товарищ комбат.

— Где телефон?

— Телефон тут, товарищ комбат, в сторожке.

На глаз от проема колокольни до сторожки было приблизительно сто пятьдесят метров.

— Провод есть?

Уловив утвердительный кивок, я приказал:

— Сейчас же телефон на колокольню! Бегом! Секунда дорога, Пономарев!

По каменным ступеням паперти я взбежал в церковь. Шибануло запахом крови. На столе, застланной плащ-палатками, лежали раненые.

— Товарищ комбат...

Меня негромко звал Севрюков. Быстро подойдя, я взял в руки его странно тяжелые, пожелтевшие кисти.

— Прости, Севрюков... Не могу сейчас...

Но он не отпускал моих рук. Пожилое лицо с сединой у аккуратно подстриженных висков, с явственно обозначившейся короткой щетиной, осунулось, обескровело.

— Кто, товарищ комбат, вместо меня?

— Я, Севрюков... Прости, не могу больше...

Я стиснул и выпустил тяжелые руки. Севрюков проводил меня слабой улыбкой.

Наверх пробежал телефонист с аппаратом. За ним вилась тонкая змейка провода.

По пути меня задержал наш врач Красненко:

— Товарищ комбат, как положение?

— Занимайтесь своим делом. Перевязывайте, быстрей эвакуируйте.

Он встревоженно спросил:

— Быстрей?

Я разозлился:

— Если я еще когда-нибудь увижу, что у вас так перекосится физиономия при одном слове «быстрей», поступлю, как с трусом, понятно? Идите...

По витой лестнице я поднялся на колокольню. Кухтаренко был уже там. Присев, он из-за каменных перил наблюдал в бинокль. Телефонист прикреплял провод к аппарату.

— Сколько правее? — спросил я.

Кухтаренко взглянул удивленно, потом понял.

— Ноль пять, — сказал он.

Я повернулся к телефонисту.

— Скоро ты?

— В момент, товарищ комбат.

Кухтаренко протянул мне бинокль. Поправив по глазам, поймав резко придвинувшуюся, сразу посветлевшую зубчатую линию леса, я повел стекла ниже — и вдруг ясно, словно в полусотне шагов, увидел немцев. Они стояли, стояли вольно, но уже выстроенные. Можно было различить боевые порядки: группы, вероятно, взводы, разделенные небольшими промежутками, были расположены так: впереди одно отделение, позади, крыльями, два. У офицеров, тоже надевших каски, уже отстегнуты кобуры парабеллумов, которые — я впервые тогда это увидел — они носят слева на животе. Так вот они, те, что подошли к Москве, «профессионалы-победители»! Сейчас они вброд пойдут через реку.

6

— Готово! — сказал телефонист. — Связь, товарищ комбат, есть.

— Вызывай огневую...

И вот наконец-то, наконец-то произнесена команда, восстановлена разорванная фраза.

— Прицел больше один! Правее ноль пять! Два снаряда, беглый огонь!

Я отдал бинокль Кухтаренко.

Уже не различая немцев, я невооруженным глазом

вглядывался в опушку, напряженно ожидая разрывов. В деревьях блеснуло, потом рядом встали два дымка. Я не смел верить, но показалось — цель поражена.

— В точку! — сказал Кухтаренко, опуская бинокль; лицо его в крапинах земли, кое-где размазанных, со вспухшей царапиной поперек лба, было сияющим. — Теперь мы...

Не дослушав, схватив трубку, я скомандовал:

— Из всех орудий по восьми снарядов, осколочными, беглый огонь!

Кухтаренко с готовностью, с гордостью протянул мне бинокль.

Я смотрел. Пристрелочные снаряды, видимо, кого-то ранили. В одном месте, спиной к нам, несколько немцев над кем-то склонились, но ряды стояли.

Ну, молитесь вашему богу! В гуле и грохоте, которые ухо перестало замечать, мы услышали: заговорили наши пушки. Подавшись вперед через перила, я видел в бинокль: на краю леса, где сосредоточились немцы, сверкало пламя, вздымалась земля, валились деревья, взлетали автоматы и каски.

Меня с силой отдернул Кухтаренко.

— Ложитесь! — прокричал он.

Нас обнаружили. С оглушающим отвратительным гулом близ колокольни пронесся «горбач». Он бил из пулемета. Несколько пуль стукнуло по четырехугольному столбу, оставляя слепые дыры. Самолет пронесся так близко, что я различил обращенное к нам злобное лицо. Мгновение мы смотрели друг другу в глаза. Я знал, надо падать, но не мог заставить себя, не захотел лечь перед немцем. Выхватив пистолет, впиваясь взглядом во врага, я спускал и спускал курок, пока не кончилась обойма.

Самолет ушел по прямой. По колокольне стали бить из орудий. Один снаряд угодил ниже нас в надежную каменную кладку. Воздух заволокло мелкой кирпичной пылью, заскрипевшей на зубах. Но казалось: снаряды врага не настоящие, они рвутся, будто на киноэкране, — рядом, но в ином мире, не то что наши: наши разят, кромсают тела.

Опять пролетел «горбач». Опять цокали пули. Я укрылся за каменный стояк. Телефонист застонал.

— Куда тебя? Дойдешь вниз?

— Дойду, товарищ комбат.

Взяв трубку, я вызвал Пономарева.

— Телефонист ранен. Пошли на колокольню другого.

Еще не договорив, я услышал свой странно громкий голос.

Все стихло. Пришла страшная, бьющая по барабанным перепонкам тишина. Лишь очень-очень издалека, с тыла, доходилоухание орудий. Там дрались наши; туда новым клином приготовились ринуться немцы через наш заслон.

Я приказал Кухтаренко:

— Управляй огнем! Секи, секи, если полезут.

— Есть, товарищ комбат!

Теперь вниз через две ступеньки, теперь скорее в роту.

7

Опять на Лысанку, опять вскачь — через село, к реке. Ох, как тихо!..

Вдоль берега, припорошенного снегом, кое-где почерневшим от разрывов, пригнувшись, стремглав бежал кто-то с винтовкой. Я подскакал. На меня, остановившись и моментально присев, смотрел черными глазенками Муратов.

— Слезайте, товарищ комбат, слезайте, — торопливо заговорил он.

— Куда ты?

— Во взвод... Передать, что командование ротой принял политрук Бозжанов. — И добавил, будто извиняясь: — Вас, товарищ комбат, долго не было, а он...

— Хорошо. Беги!

Мы разминулись.

У ротного командного пункта, у блиндажа, глубоко всаженного в землю, в пятидесяти шагах за линией окопов, которые отсюда, сзади, смутно угадывались по редким полоскам входных траншей, я спрыгнул, осадив Лысанку. У нее уже не подрагивала кожа, не топорщились уши. Спасибо тебе! Сегодня мы вместе прошли первую обстрелку. Захотелось приласкать... Но некогда, некогда, друг! А она просила, она понимала. Бросив повод подоспевшему Синченко, я ласково коснулся уздечки. Краем губы Лысанка мягко поймала и на миг задержала мои пальцы. Я увидел выпуклый влажный

глаз, повернулся и быстро пошел к мерзлым ступенькам, ведущим в блиндаж, на ходу крикнув:

— Синченко, в овраг!

В полутьме подземелья я не сразу разглядел Бозжанова. На полу, привалившись к стенкам, сидели бойцы. Все вскочили, заслоняя скупой свет из прорези лобового наката. Еще не различая лиц, я подумал: что такое, зачем здесь так много людей?

Бозжанов доложил, что принял командование, заступив вместо раненого Севрюкова. Он, Бозжанов, политрук пулеметной роты, которая, по характеру нашей обороны, была рассредоточена отдельными огневыми точками по фронту, весь день — где бегом, где ползком — пробирался от гнезда к гнезду, проверяя пулеметчиков. Он кинулся к селу Новлянскому, на участок второй роты, как только противник полчаса назад перенес весь огонь сюда.

Мой первый вопрос был:

— Что наблюдается перед фронтом роты? Как противник?

— Никакого движения, товарищ комбат.

Глаза привыкли к полутьме. В углу, подпирая верхние бревна склоненной головой, стоял Галлиулин.

— Что за народ? — спросил я. — Зачем сюда набились?

Бозжанов объяснил, что, ожидая рывка немцев, он решил перебросить сюда, на командный пункт роты, один пулемет — сделать его подвижным, чтобы парировать неожиданности.

— Правильно! — сказал я.

Бозжанов был несколько грузноватым, полнолицым (такова порода одного племени казахов, которых, в отличие от племени воинов, худеньких, узких в кости, зовут «судьями»), но в то же время очень подвижным, или, как говорят, «моторным». Сейчас он стоял подтянутый, подобранный, докладывая кратко, по форме. Внутреннее напряжение сквозило во взгляде, в сжатых губах, в скупых четких жестах. Будучи участником финской войны, он, политработник, не раз побывал в боях, был награжден медалью «За отвагу» и нередко высказывал желание стать строевым командиром. Это осуществилось теперь, в грозный час боя.

У черного тела пулемета, установленного с заправ-

ленной лентой в амбразуре, вытянулся невысокий Блоха. Он не сел, несмотря на позволение, не прислонился к срубу, был серьезен.

Непоседа Мурин припал рядом с наблюдателем к бревнам лобового каната, всматриваясь сквозь прорезь в даль.

Я подошел туда же. Неровности берега и противотанковый отвес кое-где закрывали реку, но та сторона была ясно видна. Без артиллерийского бинокля я не мог различить посеченных, расщепленных деревьев, в том месте, куда только что падали наши снаряды. Можно было заметить лишь несколько упавших на снег елок. Они служили теперь ориентиром. Оттуда вот-вот, оправившись, должны показаться немцы. Пусть покажутся! Кухтаренко лежит на колокольне, пушки наведены на эту полосу, туда смотрят пулеметы, туда нацелены винтовки.

Тихо, тихо... Пустынно...

Прогремел резкий одиночный выстрел немецкой пушки. Я невольно напряг зрение, готовясь увидеть выбегающие зеленоватые фигурки. Но в то же мгновение будто сотни молотов забахали по листовому железу. Немцы опять молотили по нашему переднему краю: по церкви, где они обнаружили корректировщика, по орудиям, которые открыли себя.

— Ну, сейчас, значит не полезет, — произнес Блоха.

Это поняли все. Первая атака отбита, не начавшись, — сорвана ударом артиллерии. Немцы не решились ринуться вперед с исходной позиции, накрытой нашими снарядами. Но день еще не окончился. Я взглянул на часы. Было пять минут четвертого — пошел седьмой час бомбардировки.

Позвонив в штаб батальона, я приказал: орудиям и корректировщику оставаться на местах, направить к церкви еще одного корректировщика-артиллериста с запасными средствами связи, чтобы в случае прямого попадания восстановить наблюдательный пункт на колокольне; красноармейцам и начсоставу хозяйственного взвода вместе с санитарами быстро перенести раненых из церкви по оврагу в лес.

— По вашему приказанию пришел Краев, — сообщил Рахимов. — Направить его к вам?

— Нет. Пусть ждет, скоро буду в штабе.

8

Перед тем как вернуться в штаб, я решил побывать у бойцов, в стрелковых ячейках. Вышел из блиндажа, присел в траншее, огляделся. Небо прояснилось. За рекой, в голубом просвете, показался край солнца. Пучки лучей падали несколько наискось, запыленный снег не искрился. Через полтора-два часа свечереет.

По звукам пальбы, по плотности немецкого огня я понял: атака будет. Будет сегодня. Где-то тут, неподалеку. Он не окончится так, одной пальбой, — последний час боевого дня.

Словно вымещая злобу, немцы всеми калибрами хлестали по переднему краю. Часть снарядов, сверля с шелестом воздух, пролетала туда, где на закрытых позициях, в блиндажах, стояли наши орудия. Другие падали вблизи. Среди поля черные взбросы появлялись реже, чем днем. Они придвинулись к береговому гребню, где в скатах были прорезаны незаметные колодцы. Судя по перемещению огня, противник распознал нашу скрытую оборонительную линию. Ее, видимо, выдало движение связных и командиров.

Сжавшись на ступеньке узкого ходка, я посматривал на взметы. Стало холодно: я был без шинели, в стеганой ватной телогрейке, стянутой поясным ремнем.

Может быть, не стоит идти туда, в окопы? Едва задав этот вопрос, я понял, что боюсь. Казалось, тысяча когтей вцепилась в телогрейку, казалось, тысяча пудов держит меня в траншее. Я рванулся из когтей, оторвался от тысячи пудов — и бегом, бегом на берег.

Летя верхом через поле и потом, на колокольне, в те накаленные минуты я не замечал снарядов, а тут... Попробуйте пробегите сорок-пятьдесят шагов под сосредоточенным огнем, когда с одного бока вас шибанет горячим воздухом, вы на ходу отшатнетесь и вдруг снова шарахнетесь, когда с другой стороны трахнет белое пламя. Попробуйте, потом, вам, может быть, удастся это описать. Мне же разрешите сказать кратко: через десять шагов у меня была мокрая спина.

Но в окоп я вошел, как командир.

— Здравствуй, боец!

— Здравствуйте, товарищ комбат!

О, как там было уютно после вольного света — в темноватом погребе, накрытом тяжелыми бревнами.

Это был окоп для одного бойца, так называемая одиночная стрелковая ячейка.

Я до сих пор помню лицо этого бойца, помню фамилию. Запишите: Сударушкин, русский солдат, крестьянин, колхозник из-под Алма-Аты. Он был бледноват и серьезен; шапка с красноармейской звездой немного съехала набок. Почти восемь часов он слушал удары, от которых содрогается и отваливается со стенок земля. Весь день, глядя сквозь амбразуру на реку и на тот берег, он сидит и стоит здесь один, наедине с собой.

Я взглянул на амбразуру — обзор был широк; открытая полоса на том берегу, застланная чистым снегом, была отчетливо видна. Что сказать бойцу? Тут все ясно: покажутся, надо целиться и убивать. Если мы не убьем их, они убьют нас. В амбразуре, выходя наружу штыком, лежала готовая к стрельбе винтовка. При сотрясении на нее падали мерзлые крупинки, некоторые прилипли к смазке.

Я строго спросил:

— Сударушкин, почему грязная винтовка?

— Виноват... Сейчас, товарищ комбат, протру... Сейчас будет в акурате.

Он с готовностью полез в карман за нехитрым солдатским припасом. Ему было приятно, что и в эту минуту я подтягивал его, как подтягивал всегда: у него прибавилось силы, душа стала спокойнее под твердой рукой командира. Снимая ветошью пыль с затвора, он посматривал на меня, будто прося: «Еще подкрути, найди еще непорядок, побудь!»

Эх, Сударушкин, знать бы тебе, как хотелось побыть, как хотелось не выскакивать туда, где черт знает что валится с неба. Опять вцепились когти, опять были привязаны пуды к ногам. Я сам искал непорядка, чтобы не уходить еще минуту. Но все у тебя, Сударушкин, было в акурате, — даже патроны лежали не на земляном полу, а в развязанном вещевом мешке. Я посмотрел вокруг, посмотрел вверх. До чего были приятны неободранные, с грубо обрубленными сучьями, еловые стволы над головой. Сударушкин взглянул туда же, и мы оба улыбнулись: оба вспомнили, как я расшвыривал хлипкие накаты, как заставлял волочить тяжелые бревна, прикрикивая на ворчавших.

Сударушкин спросил:

— Как, товарищ комбат, полезут они нынче?

Я сам бы, Сударушкин, у кого-нибудь это же спросил. Но твердо ответил:

— Да. Сегодня испробуем на них винтовки.

С бойцом нечего играть в прятки. С ним не надо вздыхать: «Может быть, как-нибудь пронесет...» Он на войне; он должен знать, что пришел туда, где убивают, пришел, чтобы убить врага.

— Поправь шапку, — сказал я. — Смотри зорче... Сегодня поналожим их у этой речки.

И, опять внутренне рванувшись, выдравшись из вцепившихся когтей, вышел из окопа.

Но заметьте: теперь это далось легче.

И заметьте еще одно: командиру батальона совершенно не к чему под артиллерийским обстрелом бегать по окопам. Для него это — ненужная, никчемная игра со смертью. Но в первом бою, думалось мне, комбат может себе это позволить. Бойцы потом будут говорить: «Наш командир не трус: он под снарядами, когда и по малой нужде страшно высунуться, приходил к нам».

Достаточно, думалось, одного раза: это запомнят все, и солдат будет тебе верить. Это великое дело на войне. Можешь ли ты, командир, перед своей совестью сказать: я верю в своих бойцов. Да, можешь, если тебе самому верит боец!

9

Должен рассказать один эпизод, который слегка поразил меня, когда я пробегал по ячейкам. Несусь и вдруг вижу: кто-то выскочил из-под земли и, согнувшись, помчался во весь дух навстречу. Что такое? Что за дурак (к себе, конечно, я сие не относил), что за дурак бегает под таким огнем по переднему краю? Ба, Толстунов... О нем, кажется, я еще не упоминал.

Как-то, незадолго до боев, он явился ко мне и отрекомендовался: «Полковой инструктор пропаганды, поработаю в вашем батальоне». Признаться, тогда я посмотрел на него косо.

Толстунов пришел в батальон на неопределенный срок. Если говорить все по правде, то я обязан признаться: это я воспринял как некоторое ущемление моей власти. По уставу Толстунов не имел никаких прав в ба-

тальоне, он не являлся моим комиссаром (в то время в батальонах комиссаров не было), но... Знакомясь, он сказал: «Меня направил в ваш батальон комиссар полка». Я сухо промолчал.

«Ладно, — подумалось, — иди занимайся, чем положено. Посмотрим на тебя в бою».

И вдруг эта встреча.

— Комбат! — Толстунов всегда называл меня так.— Комбат! Ты зачем здесь? Ложись!

— Сам ложись!

— И лягу.

Мы бросились наземь.

— Комбат, ты зачем здесь?

— А ты зачем?

— По должности...

Его карие глаза улыбались. Черт возьми, неужели он распознал мои мысли о нем?

— По должности?

— Да. Бойцу веселей, когда к нему забежишь. Он думает: тут, значит, не страшно...

Близко трахнул снаряд. Комбат и инструктор пропаганды распластались, стараясь куда-нибудь втиснуть головы. Обдало воздушной волной. Толстунов поднял лицо — оно побледнело. Он серьезно произнес:

— Вот так не страшно... Не надобно тебе, комбат, тут бегать. С этим делом пока без тебя справимся... Ну, всего... Будем знакомы...

Поднимаясь, он помахал мне рукой. В следующую секунду мы что есть маху неслись друг от друга. «Будем знакомы...» Вот, значит, он каков... Да, собственно говоря, только тут состоялось наше первое знакомство. Я даже не заметил, как мы перешли на «ты».

Я заглянул еще в два-три окопа, где только что побывал Толстунов. Да, бойцы были там спокойнее, веселей.

Так парировали мы, командиры и политработники, «психическую» бомбардировку немцев. Так шел этот бой, в котором ни один из бойцов не произвел еще ни одного выстрела.

Но не довольно ли в самом деле мне бегать?

От реки, от переднего края, я повернул к лесу. У самой опушки над головой лопнул бризантный снаряд. Я с ходу шлепнулся. У снарядов этого типа, рвущихся в

воздухе, осколки летят вперед. Задрожала матерая сосна, посыпался снег, на коре появились свежие белые отметины. Сердце неприятно колотилось.

В лесу верный Синченко, все время следовавший за мной вдоль опушки с лошадьми, сразу подвел Лысанку.

Пора, давно пора в штаб!

ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ ОКТЯБРЯ. НА ИСХОДЕ ДНЯ

1

В штабе меня ожидал командир пулеметной роты Краев. От виска по щеке, по подбородку стекала кровь. Он досадливо смахивал ее, размазывая по угловатому лицу. Но выпуклая алая струйка опять появлялась на корке засыхающей крови.

— Что с тобой, Краев?

— Шут его знает... зацепила...

— Иди на медпункт. Рахимов, раненых перенесли из церкви?

— Переносят, товарищ комбат. Пункт развернулся в лесу, в доме лесника.

— Хорошо. Иди туда, Краев...

— Не пойду.

Он сказал это упрямо, мрачно. Я прикрикнул:

— Что я тебя такого людей пугать пошлю? Прими воинский вид. Умойся, перевяжись. Потом будем разговаривать. Синченко, два котелка воды лейтенанту Краеву.

Угрюмо улыбнувшись, Краев вышел. Но ему так и не пришлось перевязываться.

Меня вызвал к телефону командир полка майор Елин.

— Момыш-Улы, ты? Противник атакует шестую роту в районе Красной Горы. Сейчас ворвался на линию блиндажей. Помоги. Что у тебя есть под рукой, около штаба?

Майор Елин, участник двух войн, был уравновешенным, крепких нервов человеком. Ему и сейчас не изменило дыхание, когда он произнес: «Помоги!»

Деревня Красная Гора находилась в двух с половиной километрах справа от села Новлянского. Что у меня было под рукой? Охрана штаба, несколько сменившихся телефонистов и хозяйственный взвод. Я доложил об этом.

— Брось их бегом на подмогу шестой роте. Имей в виду: с севера идет туда взвод под командой лейтенанта Исламкулова. Предупреди, чтобы не перестреляли друг друга. Об исполнении доложи.

Приказав Рахимову поднять по боевой тревоге хозяйственный взвод и всех около штаба, я вышел из блиндажа. В лесу уже чувствовался вечер. Неподалеку умывался Краев. Нескладное, с тяжелой челюстью, с нависшими надбровными дугами, лицо было уже чистым, но скатывавшаяся вода чуть розовела.

— Краев!

Он подбежал. По мокрому лицу опять сползла струйка крови. Он досадливо ее смахнул. Я предполагал назначить Краева командиром второй роты, но... в Красную Гору поведет подмогу он.

Из блиндажа выскочил телефонист.

— Товарищ комбат, вас к телефону.

— Кто?

— Командир полка. Просит немедленно.

На этот раз майор Елин говорил поспешно, волнуясь:

— Момыш-Улы, ты? Отставить! Поздно! Противник вошел в прорыв, расширяя брешь. Одна группа двигается сюда, к штабу полка. Я отхожу. Другая, неясной численности, повернула к тебе, во фланг. Загни фланг! Держись! Потом...

И голос пресекся, связь прервалась. В мертвой мембране ни гудения, ни потрескивания электроразрядов. Тихо...

Я отложил ненужную трубку, и меня еще раз ударила по нервам тишина. Тихо было не только в мембране. Тихо стало кругом. Противник прекратил артиллерийский обстрел нашего района. Что же это? Минута атаки? Бросок пехоты на прорыв обороны второй роты? Нет, фронт уже прорван.

2

Фронт уже прорван. Немцы уже на этом берегу, уже двигаются вглубь. Они идут и сюда, к нам, но не оттуда, где путь прегражден окопами, где их готовы встретить пулями прильнувшие к амбразурам бойцы, где все пристреляно нашими пушками и пулеметами.

Они идут сбоку и с тыла по незащищенному полю, где перед ними нет фронта.

Я на мгновение мысленно увидел бойцов, застигнутых в темных колодцах, врезанных в откосы берега, — сзади там нет бойниц. Быстро взглянул на часы.

Было без четверти четыре.

Чуткий, зачастую понимающий без слов, Рахимов положил передо мной карту. Встретив его спрашивающий взгляд, я молча кивнул.

— В районе Красной Горы? — произнес он.

— Да.

Я смотрел на карту, слыша, как тикают часы, как уходят секунды, чувствуя, что уже нельзя смотреть, что уже надо действовать. Но, перемогаясь, я заставлял себя стоять, склонившись над картой. О, если бы вы смогли описать эту минуту, одну минуту, которая дана была мне, командиру, чтобы принять решение!

Отдать Новлянское? Отдать село, что лежит на столбовой дороге, которая так нужна противнику, по которой он напрямик, на грузовиках, устремится во фланг полку, дерущемуся на рокаде. Не легко самому себе ответить: да, отдать! Но иначе я не сохраню батальона. А сохранив... Посмотрим тогда, чья будет дорога.

На карту, пока только на карту, легла новая черта, идущая поперек поля, наперерез приближающимся немцам. Сообщив Рахимову мое решение, приказав передвигать пушки на край леса, к новой черте обороны, и отдав несколько других распоряжений, я выбежал из штабного подземелья.

— Синченко!

— Я.

— Коня! Давай и рахимовского! Для Краева. Краев, за мной!

Опять по тому же полю, теперь стихшему, мы поскакали во вторую роту. Полнеба очистилось. В глаза ударяло красноватое низкое солнце.

3

Пригнувшись, я карьером посылал Лысанку. Вдруг красные светляки стали мелькать над головой. На секунду привстав на стременах, взглянув в сторону, я увидел немцев. Они шли по полю, которое верхами пересекали мы, приблизительно в километре от нас, шли це-

пью, в рост, разомкнувшись, как можно было издали определить, на два-три шага друг от друга. Я знал, что у них зеленоватые шинели, такого же цвета каски, но теперь, на снегу, фигуры казались черными. Фокусники — они, треща на ходу автоматами, выпускали тысячи устрашающих светящихся пуль.

А добрая лошадь несла и несла.

У ротного командного пункта Галлиулин уже взваливал на спину пулемет. Один из связных бежал наискосок к реке, на фланг батальона. Рахимов уже позвонил сюда, уже сообщил задачу.

Бозжанов стоял снаружи, провожая пулеметчиков. Рядом с ним связные: маленький Муратов и высокий Белвицкий. Муратов, словно продрогши, пристукивал ногами.

Подскакав, я приказал:

— Бозжанов! Пойдешь с пулеметчиками! Повтори задачу!

— Умереть! — глухо сказал он. — Но...

— Жить! Огневая точка должна жить! Держаться, пока не загнем фланг!

— Есть, товарищ комбат. Огневая точка должна жить...

— Проберись по оврагу. Действуй хладнокровно. Выжди, подпусти...

Я посмотрел на пулеметчиков, на Мурина, Добрякова, Блоху, тяжело нагруженных лентами.

— Бегом! Заставьте, товарищи, лечь эту шпану! Краев, за мной. Синченко, за мной!

Ко мне подошел Муратов.

— А мы, товарищ комбат? — сиротливо спросил он.

— С политруком! Наблюдатели, телефонисты — все с политруком!

Сквозь просвет между рекою и селом мы поскакали за Новлянское, на фланг батальона. Связной еще не добрался туда, но из крайних окопов бойцы уже вышли, некоторые присели в ходках, высунув над землей лишь головы, другие сошлись кучками. Отсюда, за взгорьем, шагающие немцы не были видны, но все смотрели туда, где трещали автоматы, откуда взлетали красные шальные пунктиры.

Багряный шар уходящего солнца бросал косые лучи.

Командир взвода, молодой лейтенант Бурнашев, вы-

бежав на несколько шагов навстречу выстрелам, стоял потрясенный, растерянный. В бою это угадывается сразу. Побелевшими пальцами он сжал пистолет, но рука повисла. Ошеломленный неожиданностью он не знал, как поступить, что скомандовать. Он потерялся всего, быть может, на минуту, но в эту минуту — в жуткий критический миг — и бойцы потеряли командира. Я не видел отделений, не видел младших командиров — они были, конечно, где-то здесь, но ничем не выделялись и тоже, наверное, жались к темным бесформенным кучкам людей.

Воинский порядок, воинский костяк, который я всегда различал с одного взгляда, был смят внезапностью, распался. Я ощутил: вот так и гибнут, так и гибнут батальоны.

Еще никто не побежал, но один красноармеец, не отрывая взора от взлетающих светящихся линий, медленно переступал, медленно отодвигался в сторону вдоль берега. Пока медленно... пока один... Но если он кинется бежать, то не побегут ли за одним все?

И вдруг кто-то повелительным жестом показал туда, на этого отодвигающегося красноармейца. Странно... Кто тут распоряжается? Кто с такой решительностью простер руку? Я издали узнал фигуру Толстунова. Сразу вздохнулось легче. Тут я не помнил о давешних своих размышлениях, тут попросту мелькнуло: хорошо, что он здесь.

В тот же момент донесся окрик:

— Куда? Я тебе покажу бежать! Пристрелю, трус! Ни шагу без команды!

Это крикнул парторг роты красноармеец Букеев, маленький остроносый казах. Его винтовка была энергично поднята наперевес.

И только тогда я различил в разных точках еще несколько фигур, не сливавшихся со всеми: от Толстунова, находившегося в центре, им будто передалась поза молчаливой сосредоточенной решимости. Это не был привычный взгляду комбата остов моего взвода, но я видел: они, эти люди, сейчас сдерживают, скрепляют взвод.

И не сразу, не тогда, а в другой обстановке, когда в уме проходили впечатления дня, я понял, что тут выступила сила, имя которой — партия.

Подскакав, я крикнул:

— Бурнашев! Кто у тебя командует? Чего раскис? Где командиры отделений?

Бурнашев покраснел. Ему было стыдно, что он так растерялся. Он торопливо выкрикнул:

— Командиры отделений, ко мне!

Соскочив с коня, я кратко и громко объявил свое решение: загнуть фланг, отдав противнику село. Затем приказал:

— Командир первого отделения! Выводи бойцов! Каждому знать свое место по порядку номеров! Первое отделение поведу я! Второе — Толстунов! Третье — Бурнашев! Краев, принимай командование ротой. Выводи следующий взвод. Примкнешь к нам. Взрывай мост.

— Есть, товарищ комбат.

— Толстунов, к своему отделению...

— Комбат, я думаю...

— Нечего думать... Держи дистанцию пятьдесят метров от меня. Не отставать! Не сбиваться в кучу! Первое отделение, слушать мою команду! За мной! Бегом!

Прижав согнутые локти, я припустился что есть мочи по некрутому подъему, мимо темных домов села, где горел в стеклах отраженный закат, по избитому полю, к лесу. Сзади слышался топот, за мной поспевало отделение.

4

На полпути я опять увидел немцев. Ого, как приблизились, выросли шагающие по снегу черные фигуры! За пять-шесть минут, что протекли с тех пор, как мы заметили их с седел, расстояние сократилось до полукилометра. Быстро идут: сто метров — минута. А нам еще бежать, бежать... Край леса далеко, будто край света. До первых деревьев тоже почти полкилометра.

Я рывком усилил бег.

В немецкой цепи заметили нас. Красные траектории, скрещиваясь, прорезали воздух впереди и сзади, проносились над головой или с легким шипением потухали у ног.

Немцы стреляли без прицела, с ходу, но множеством пуль. Сзади кто-то упал. Донесся тонкий, хватающий за душу крик:

— Товарищи!..

Я оглянулся, выкрикнул:

— За мной! Подберут!

Немцы по инстинкту преследования — ага, рус бежит! — тоже прибавили шаг. Но и лес, вот он — в сотне шагов. И вдруг я с отчаянием почувствовал: выдыхаюсь. Сказался судорожный рывок средь пути. Пыхтение и топот все ближе. Бойцы нагоняют меня. Было приказано не сбиваться толпой. Но они все-таки сгрудились. Да, такая гоньба, на виду у врага, под огнем автоматов, с засевшим в ушах пронзительным криком раненого — это не учебное фланговое перестроение.

Я вобрал сколько мог воздуха:

— Отделение, стой!

Понимаете ли вы? В одном этом миге, в этой команде, в одном слове «стой!» спрессовалась вся наша предыдущая история — история батальона панфиловцев. Сюда вошло сознание долга, и «руки по швам», и всегдашнее безжалостное: «исполнять! не рассуждать!», превращенное в привычку, то есть во вторую натуру солдата, и расстрел труса перед строем, и ночной набег на Середу, где однажды уже был побит немец, побит страх.

А вдруг бы бойцы не остановились, вдруг бы с разгона кинулись в лес? Значит... значит, не жить бы тогда на этом свете командиру батальона Бауржану Момыш-Улы. Таков закон нашей армии — за бесславное бегство бойцов отвечает бесславный командир.

Толпой, тяжело дыша, бойцы стояли — стояли! — подле меня.

— Командир отделения!

— Я!

— Ложись здесь! Стреляй! Правофланговый!

— Я!

— Сюда! Ложись! Стреляй! Кто рядом?

— Я!

— Сюда! Ложись! Стреляй! Разомкнуться! Интервал — пять метров! Куда ложишься?! Отбегай дальше. Здесь! Стреляй!

5

Я допустил ошибку. Следовало залечь, не стреляя, изготовиться, прицелиться, чуть унять бешеный стук крови и потом, по команде, хлестать залпами.

Бойцы стреляли вразнобой, с лихорадочной быстротой и лихорадочной неточностью. Выпуская потоки светящихся пуль, немцы шли на нашу цепочку, и никто из них не падал.

Не по-вечернему яркое солнце бросало лучи сбоку. Немцы уже не казались черными, безличными. Солнце вернуло цвета. Под зеленоватыми касками белели безбородые лица; у некоторых поблескивали очки. Но почему, почему они не падают?

Лишь тут я сообразил, что немцы, собственно говоря, еще далековато — в трехстах-четырехстах метрах. А мы сгоряча палили, оставив прицельную рамку на первой черте, на стометровке.

— Прицел два с половиной! — крикнул я, перекрывая трескотню.

Через поле по нашему следу подбегало отделение Толстунова. Из-за домов Новлянского показалось третье.

Из села выносились груженые повозки. Ездовые нахлестывали коней.

Немцы двигались. В их цепи упал один, другой... Но и у нас кто-то застонал... Дальний край вражеской шеренги скрылся за домами. Противник уже в Новлянском. Мы отдали село.

А другие шагают, шагают... Сейчас им скомандуют: «Бегом!» Я измерил глазом расстояние. Сомнут! Эх, если бы вы испытали это сосущее, тошнотворное предчувствие: сомнут!.. Пулемет! Где вы, Бозжанов, Мурин, Блоха? Где пулемет, пулемет?

Рядом кто-то вскрикнул, запричитал:

— Ой, ой, смертушка! Ой, ой!..

Страдальческий крик дергал нервы, уносил мужество.

Каждому чудилось: сейчас то же будет и со мной, сейчас и в меня попадет пуля, из тела забрызжет кровь, я закричу смертным криком. Я сказал: каждому... Да, и мне... Да, от этих жутких всхлипываний содрогался и я: от живота к горлу подползал холод, лишающий сил, отнимающий волю.

Я посмотрел туда, откуда неслись вскрики. Вон он, раненый, полулежит на снегу, без шапки; по лицу размазана свежая кровь; она стекает с подбородка на шинель. Какие у него страшные белые глаза: глазные орбиты расширились, белок стал необычно большим.

А неподалеку кто-то лежит, уткнувшись лицом в снег, сжав голову руками, будто для того, чтобы ничего не видеть, не слышать. Что это — убитые? Нет, мелкая дрожь трясет его руки... Рядом чернеет на снегу полуавтомат. Кто это? Это красноармеец Джильбаев, мой сородич, казах! Он невредим, он струсил, мерзавец! Но ведь и мне только что хотелось вот так же уткнуться лицом, втиснуться в землю — и там будь что будет!

Я подскочил к нему:

— Джильбаев!

Он вздрогнул, оторвал от снега землисто-бледное лицо.

— Подлец! Стреляй!

Он схватил полуавтомат, прижал к плечу, торопливо дал очередь. Я сказал:

— Целься спокойно. Убивай!

Он взглянул на меня. Глаза были все еще испуганные, но уже разумные. Он тихо ответил:

— Буду стрелять, аксакал.

А немцы идут... Идут уверенно, быстро, в рост, треща на ходу автоматами, которые будто снабжены длинными огненными остриями, достающими до нас, — так выглядят непрерывно вылетающие трассирующие пули. Я понимал: немцы стремятся оглушить и ослепить нас, чтобы никто не поднял головы, чтобы никто не смог хладнокровно целиться. Где же Бозжанов? Где пулемет? Почему молчит пулемет?

А раненый все вскрикивает. Я подбежал к нему. Увидел вблизи залитое кровью лицо, красные мокрые руки.

— Ложись! Молчи!

— Ой...

— Молчи! Грызи тряпку, грызи шинель, если тебе больно, но молчи!

И он — честный солдат — замолчал.

Но вот наконец-то... наконец-то трель пулемета... Длинная очередь: так-так-так-так... Ого, как близко подпустил их Бозжанов! Он сумел выдержать, ничем себя не выдав, до крайнего момента. Зато теперь пулемет разил кинжальным огнем — внезапно, на близком расстоянии, на смерть.

Первые очереди подрезали центр немецкой цепи. О, как там заметались! Я впервые услышал, как заголосили враги. Мы потом не раз убеждались, что такова одна

из особенностей немецкой армии: в бою при заминке или неудаче подстреленные немцы орут в голос, призывая помощь, — так почти никогда не кричат наши солдаты.

Но вместе с тем перед нами была муштрованная, управляемая сила. Прозвучала иноземная команда, и немецкая цепь, не тронутая с нашего края пулеметом, разом легла.

Ну, теперь можно вздохнуть.

Через минуту ко мне подполз Толстунов:

— Как думаешь, комбат? Ура?

Я отрицательно повел головой. В рассказах для легкого чтения это очень легко, очень просто: «ура» — и немец побежал. На войне это не так.

Но «ура» в тот вечер все-таки раздалось. Не один мой батальон существовал на свете, и не я один управлял боем. «Ура» возникло там, откуда не ждали его ни мы, ни немцы.

6

Из лесного клина, несколько сзади залегших немцев, появилась бегущая разомкнутая шеренга.

В лучах догорающего солнца мы увидели красноармейцев — наши шапки, наши шинели, наши штыки наперевес. Их было не очень много: сорок-пятьдесят. Я догадался: это взвод лейтенанта Исламкулова, посланный из другого пункта в район прорыва.

Теперь не нам, а немцам предстояло изведать, что такое удар во фланг и в тыл. Но маневр загиба фланга, можете не сомневаться, был известен и им. Край цепи поднялся, отстреливаясь, немцы стали отбегать, создавая дугу.

— Комбат! — возбужденно выговорил Толстунов.

Я кивнул ему: да! Затем крикнул:

— Передать по цепи: подготовиться к атаке!

И не узнал собственного голоса — он был приглушенным, хриплым. От бойца к бойцу шли эти слова: «Подготовиться к атаке», — и у каждого, конечно, замерло и неровно забилось сердце.

Со стороны леса бежала шеренга бойцов, что пришли к нам навстречу, оттуда слабо доходило «ура-а-а-а!», а немцы торопливо перестраивались. Напротив нас линия немцев поредела, но они успели подтянуть сюда два легких пулемета, которые раньше, вероятно, следовали

чуть в глубине за наступающим строем. Один пулемет уже начал бить: участилось неприятное посвистывание над головами.

А в нашей цепи стрельба стихла; бойцы лежали, стиснув винтовки, ожидая мига, о котором всякому думалось со дня призыва в армию, который всякому представляется самым страшным на войне, — ожидая команды в атаку.

Меня поразило это непроизвольное прекращение огня; не так надобно, не так! Но уже нет времени исправить. Надо действовать скорее, пока враг в замешательстве.

Я прокричал:

— Бурнашев!

Лейтенант Бурнашев — командир взвода, тот, кто недавно, на берегу, густо покраснел, стыдясь минутной растерянности, — лежал в цепи в полусотне метров от меня. Он быстро поднял и опустил руку в знак того, что слышит.

— Бурнашев, веди!

Прошла секунда. Вы не раз, вероятно, читали и слышали о массовом героизме в Красной Армии. Это истина, это святые слова. Но знайте: массового героизма не бывает, если нет вожака, если нет того, кто идет первым. Не легко поднять людей в атаку, и никто не поднимется, если нет первого, если не встанет один, не пойдет впереди, увлекая всех.

Бурнашев поднялся. На фоне закатного неба возник его напряженно согнутый, устремленный вперед силуэт. Перед ним, на уровне плеч, чернела заостренная полоска штыка — он схватил у кого-то винтовку. Раскрытый рот шевелился. Оторвав себя от земли, исполняя приказ, — не только мой, но вместе с тем приказ Родины сыну, — Бурнашев прокричал на все поле:

— За Родину! За Сталина! Вперед!

До этого не однажды мне приходилось встречать в газетах описания атаки. Почти всегда в корреспонденциях бойцы поднимались в атаку с таким возгласом. Но в газетных строчках все это выглядело порой как-то слишком легко, и мне думалось: когда подойдет наш черед, когда доведется кинуться в штыки, все будет, наверное, не так, как в газете. И из горла вырвется иное — что-нибудь яростное, лютое, вроде «бе-ей!» или просто

«а-а-а-а!..». Но в этот великий и страшный момент Бурнашев, разрывая тысячи ниток, которые под огнем пришивают человека к земле, двинулся, крича именно так:

— За Родину! За Сталина! Вперед!

И вдруг голос прервался: будто споткнувшись о натянутую под ногами проволоку, Бурнашев с разбегу, с размаху упал. Показалось: он сейчас вскочит, побежит дальше, и все, вынося перед собой штыки, побегут на врага вместе с ним.

Но он лежал, раскинув руки, лежал не поднимаясь. Все смотрели на него, на распластанного в снегу лейтенанта, подкошенного с первых шагов, все чего-то ждали.

Вновь прошла напряженная секунда. Цепь не поднялась.

И опять кто-то вскочил, опять в пулеметной трескотне взмыли над полем те же слова, тот же призыв:

— За Родину! За Сталина! Вперед!

Голос был неестественно высокий, не свой, но по нерусскому акценту, по худенькой малорослой фигуре все узнали красноармейца Букеева.

Однако и он, едва ринувшись, рухнул. Пули попали, вероятно, в грудь или в голову, но, казалось, ему, как и лейтенанту Бурнашеву, подсекло ноги, срезало острой косой.

У меня напружинилось тело; пальцы сгребли и стиснули снег. Опять истекла секунда. Цепь не поднялась.

Против нас уже действовали оба пулемета: в легких сумерках ясно виднелось длинное пульсирующее пламя, вылетающее из стволов; оно смутно озаряло пулеметчиков, которые, стоя на коленях, наполовину заслоненные щитком, прикрывали перестроение немцев, не давали нам броситься в штыки, держали нас настильным огнем.

Наши товарищи, сорок-пятьдесят красноармейцев, сумевшие выбрать момент для удара в спину врага, приближались к немцам, которые с той стороны уже создали фронт, уже и там открыли пальбу, а мы лежали по-прежнему пришитые к земле, лежали, обрекая на погибель горстку братьев-смельчаков.

Каждый из нас, как и я, напружинился, каждый стремился рвануться, вскочить, и никто не вскакивал.

Да что же это? Неужели мы так и пролежим, так и окажемся трусами, предателями братьев? Неужели не

найдется никого, кто в третий раз прянул бы вперед, увлекая роту?

И я вдруг ощутил, что взгляды всех устремлены на меня, ощутил, что ко мне, к старшему командиру, к комбату, словно к центральной точке боя, хотя я лежал на краю, притянуто обостренное внимание: все, чудилось, ждали, что скажет, как поступит комбат. И, отчетливо сознавая, что совершаю безумие, я рванулся вперед, чтобы подать заразительный пример.

Но меня тотчас с силой схватил за плечи, вдавил в снег Толстунов. Он выпалил русское ругательство.

— Не дури, не смей, комбат! Я...

Его приятно-грубоватое лицо в один миг переменилось: лицевые мышцы напряглись, окаменели. Он оттолкнулся, чтобы резким движением встать, но теперь я схватил его за руку.

Нет, я не хочу терять еще и Толстунова. Я уже опомнился, я снова стал комбатом. Прежнее ощущение стало еще резче: все до единого, казалось, уголком глаза смотрят на меня. Бойцы, конечно, заметили: комбат хотел встать и не встал; старший политрук хотел встать и не встал. Чутье, всегда свойственное командиру в бою, сказало: мой недовершенный рывок смутил душу солдата. Если рванулся и не поднялся комбат — значит нельзя подняться.

Командиру надобно знать, что в бою каждое его слово, движение, выражение лица улавливается всеми, действует на всех; надобно знать, что управление боем есть не только управление огнем или передвижениями солдат, но и управление психикой.

Я уже опомнился. Конечно, не дело комбата водить роту врукопашную. Я вспомнил все, чему мы обучались, вспомнил завет Панфилова: «Нельзя воевать грудью пехоты... Береги солдата. Береги действием, огнем...»

Я рассказываю вам долго, подробно, но там, в поле, это были всего лишь секунды. В эти секунды я, как и все мы, учился воевать, учился и у врага.

Я крикнул:

— Частый огонь по пулеметчикам! Ручные пулеметы, длинными очередями по пулеметчикам! Прижмите их к земле!

Бойцы поняли. Теперь наши пули засвистали над головами стреляющих немцев. Один наш ручной пулемет

стоял неподалеку. Он тоже примолк после того, как я скомандовал Бурнашеву: «Веди!» Теперь боец у пулемета торопливо вставлял новый магазин. Туда быстро пополз Толстунов. Бойцы лихорадочно стреляли. Вот заработал и этот пулемет.

Ага, немецкие пулеметчики легли, притаились, скрылись за щитками! Ага, кого-то мы там подстрелили! Один пулемет запнулся, перестало выскакивать длинное острое пламя. Или, может быть, там меняют ленту. Нет, под пулями это не просто... Ну... Я ловил момент, чтобы скомандовать, но не успел. Над цепью разнесся яростный крик Толстунова:

— Коммунары!

Не только к коммунистам — ко всем был обращен этот зов. Мы увидели: Толстунов поднялся вместе с пулеметом и побежал, уперев прикладом в грудь, стреляя и крича на бегу. В третий раз над полем прозвучал яростный, страстный призыв:

— За Родину! За Сталину! Ура-а-а!

Голос Толстунова пропал в реве других глоток. Бойцы вскакивали. С лютым криком, с искаженными яростью лицами они рванулись на врага, они обгоняли Толстунова.

Я успел заметить вскинутый в замахе огромный, характерного выреза, приклад ручного пулемета, — выпустив патроны, Толстунов взялся за горячий ствол и поднял над собой тяжелый приклад, как дубину.

Немцы не приняли нашего вызова на рукопашку, не приняли штыкового удара, их боевой порядок смешался, они бежали от нас.

Преследуя врага, убивая тех, кого удавалось настичь, мы — наша вторая рота и взвод лейтенанта Исламкулова, начавший нападением с тыла эту славную контратаку, — мы с разных сторон ворвались в Новлянское.

МЫ ЗДЕСЬ!

1

Вслед за бойцами я пошел в село. Там стрельба, беготня. Красноармейцы очищали село от запоздавших уйти немцев.

Со всех ног, не замечая меня, пробежал с полуавтоматом худенький Абиль Джильбаев. Шинельные полы были заткнуты за пояс, шапка развязана, уши болтались, как у кутенка, когда он, вспугнутый, носится по полю.

Запыхавшись, Джильбаев подскочил к товарищу, тоже казаху, и ткнул куда-то пальцем.

— Там немец... Стреляет, черт... Идем...

Они поговорили и побежали назад вместе. Абиль мчался напрямик, разгоряченный, энергичный, держа полуавтомат на изготовку. А товарищ стал отделяться — видимо, чтобы зайти сбоку.

И вдруг — на полном ходу — стоп! Абиль повернулся к товарищу, закричал:

— Эй, Монарбек, как это по-немецки? Хульт, что ли?

Я рассмеялся. Несколько дней назад был отдан приказ батальону — всем выучить десяток немецких слов: «стой», «сдавайся», «следуй за мной» и т. д. Но руки не дошли проверить.

Товарищ тоже приостановился. Они перекликались по-казахски:

— Как ты сказал?

— Хульт, что ли?

— Правильно.

И друзья понеслись. Я вдогонку поправил:

— Не так, Джильбаев! Хальт!

Абиль оглянулся, увидел комбата и припустился бежать, размахивая ушами шапки. А я опять засмеялся.

Я шел и смеялся, сам удивляясь этому безудержному смеху. Такова была разрядка нервного напряжения боя.

— Бауржан! Что смеешься?

Кто это? Меня давно никто не называл по имени. Ко мне, улыбаясь, шел лейтенант Мухаметкул Исламкулов. Я кинулся к нему. Он взял под козырек.

— Товарищ старший лейтенант! По обстановке нахожусь со взводом в вашем распоряжении. Потери взвода: один убитый, четверо раненых. Командир взвода лейтенант Исламкулов.

Я взял обеими руками и молча пожал его руку. Мы давно знали друг друга по Алма-Ате. Там Мухаметкул Исламкулов был журналистом, сотрудником газеты «Социалистик Казахстан». Сейчас я с любовью, с нежностью, какой не знавал до войны, смотрел на его кра-

сивое, цвета светлой бронзы, лицо; любовался им — высоким, стройным, улыбающимся.

Тут, в час решающего испытания, он оказался истинным воином: смелым и хитрым. Это не просто — красться за противником, выжидая момента, и молча кинуться сзади, когда момент настал.

Я сказал ему:

— Приведи в порядок свой взвод. Потом приходи ко мне в штаб. Там поговорим.

Бой затихал. Уцелевшие немцы отскочили за реку, переходя вброд — по пояс, по грудь — студеную воду. Другие, что были далеко от реки, метнулись к Красной Горе. В том направлении бойцы нагоняли убегавших; в сумерках возникали вспышки выстрелов: там сопротивлялись настигнутые одиночки.

2

И вдруг из-за реки, с того места, куда ушла более или менее компактная группа немцев, взмыли сигнальные ракеты. Они не озарили берегов, лишь темная вода неясно отразила бегущие цветные огни.

Два зеленых, оранжевый, белый, потом снова два зеленых. Сумрак, перерыв и опять шесть ракет в той же комбинации.

Несомненно, немцы что-то сообщали. Но что именно? Было ли это донесением о случившемся? Или вызовом подкреплений, знаком новой атаки?

В разных точках возникли ответные сигналы.

Я обвел взглядом горизонт, прорезанный огненными змейками. Ого! Черт возьми, куда проник противник! Мы были в пасти зверя.

Себя обозначили Цветки, Житаха и другие деревни за рекой, против наших окопов, часть которых на протяжении двух километров была при перестроении покинута бойцами, — там зиял открытый фронт. А на этом берегу, вверх по течению Рузы, ракеты посылала Красная Гора. Несколько наискосок, вглубь, фейерверки взвивались над Новощурино, где днем стоял штаб полка; затем, все круче охватывая нас, над Емельяново, над Лазарево... Потом темный промежуток, спокойное вечернее небо: его не полосовали огни... Но промежуток странно узок. Повернувшись спиной к Красной Горе, я смотрел недоумевая. Ракеты, казалось, взлетели и над се-

лом Сипуново. Что такое? Ведь там батальон капитана Шилова, там его тылы.

Рассыпаясь искрами, тускнея, огни исчезли... Сразу потемнело.

Нет, это не Сипуново. По расчету времени, по характеру прорыва, устремленного вглубь, противник не мог туда проникнуть. Немцы и тут, наверное, фокусничают. Нас пугает какой-нибудь ракетчик, заранее подброшенный в тыл. Но надобно, надобно бы мне сейчас быть в штабе, связаться оттуда с капитаном Шиловым: выяснить, что за странные ракеты у него в тылу; снарядить поиск. Действуй, действуй, командуй без меня, Рахимов! Выясняй, скорее выясняй, что за фокусы там, близ Сипуново?

Нам и без того туговато... Почти все дороги, скрещивающиеся в Новлянском, перехвачены противником. Если он бросит сюда с разных сторон пехоту на грузовиках или бегом, тут внезапно все перевернется. Нам ударят в спину, и ничто не спасет моих бойцов, рассеявшихся по полю в увлечении атаки.

Разыскав Краева, я приказал ему вывести роту из села и окопаться поперек поля на линии, с которой мы поднялись в атаку. Затем направился в штаб.

На опушке, близ которой, чуть в глубине, был расположен штаб батальона, стояли, скрытые деревьями, мои восемь пушек.

Они, как было приказано, передвинулись сюда. Темные стволы глядели на дорогу, что вела из Новощурино. Я вызвал командира.

— Оседлал дорогу?

— Да, товарищ комбат.

— Пропусти немцев в Новлянское, если покажутся.

— Пропустить?

— Да. Село видишь?

Перед нами в семистах метрах пролегла широкая улица села, обозначенная черными силуэтами домов. Оттуда, перекликаясь, отыскивая на ходу свои отделения, взводы, уходили бойцы.

— Вижу.

— Наведи вдоль улицы. Пусть войдет противник. Тогда стукнем прямой наводкой, на картечь.

— Есть, товарищ комбат.

Опять над горизонтом взнеслись ракеты. Первые —

над Новощурино, ответные — кругом. И опять цветные шнурки прорезали небо далеко за лесом, в той стороне, где Сипуново.

Что такое? Надо скорее в штаб!

3

Я вошел в штабной блиндаж. Все встали. Среди других я заметил Исламкулова.

Но кто-то, далеко от лампы, в углу продолжал сидеть, уставившись в пол, будто ничего кругом не замечая. На нем была не ушанка, как у всех нас, а защитная фуражка с пехотным малиновым кантом.

— Капитан Шилов? Вы?

Опершись о край стола, он поднялся. Поднес руку к козырьку.

Помню первое впечатление: как он страдает, как сдерживает страдание. Что с ним? Ранен? Почему он здесь?

— Что с вами, капитан?

Он не ответил. Я повторил:

— Что с вами? Что с батальоном?

— Батальон... — уголок рта несколько раз дернулся. Шилов что-то глотнул. Потом выговорил: — Батальон разбит.

Он посмотрел на меня, ожидая вопросов. Я увидел его глаза... Тяжело опираясь на стол, он не отвел взгляда.

О чем же спрашивать? «Батальон разбит...» А ты? А ты, командир батальона, бежал?! Нет, сейчас не до этого, не до этих вопросов.

«Батальон разбит...» Шилов в моем блиндаже, в моем штабе... Значит?.. Значит, фронт прорван и слева...

Шилов сел, опять уставившись в пол.

— Разрешите доложить, — произнес Рахимов.

Я сказал:

— Докладывайте.

4

Рахимов развернул карту. Докладывая, он указывал топографические пункты. Я машинально следил за его карандашом, аккуратно зачиненным, как всегда. Ровным голосом он назвал час и минуту несчастья.

А я плохо соображал, плохо слышал. Будто из отда-

ления доходило: «Без артиллерийской подготовки, внезапно, противник атаковал батальон капитана Шилова. После этого, прорвавшись у села Сипуново...»

Я знал, что было после этого. Встало только что пережитое. Бойцы вышли из окопов... Некоторые стояли в ходках у своих ячеек; другие сошлись по двое, по трое... Все смотрели назад, где трещали автоматы, откуда взлетели красные шальные пунктиры. Души смятены. Куда деться? Немцы спереди и сзади... Еще момент и... И батальона нет...

Рахимов продолжал. Немецкие колонны, прорвавшиеся под вечер по обе стороны нашего батальонного района, по-видимому, еще не сомкнулись в глубине. Наша конная разведка, высланная в тыл, была несколько раз обстреляна. Но в некоторых деревнях конников никто не окликнул: немцы прошли стороной. Через эти пункты, проселки, можно выскользнуть. Рахимов показал это на карте.

Прежняя черта обороны, черта сомкнутых звеньев, заграждавших Москву, была стерта. Резинка счистила карандаш, сняла глянец, на карте остались чуть заметные следы.

Фронт батальона, нанесенный на карту заново, был согнут, как подкова. Оба конца обрублены, оба упирались в пустоту. Нет, не в пустоту. Соседи имелись. Соседом справа были немцы; соседом слева были немцы; сзади, над неприкрытым тылом, куда Рахимов придвинул два пулемета и выслал посты, — сзади тоже немцы.

Рахимов предполагал, что с темнотой немцы закончили боевой день. Нам была знакома их манера: ночью спать, воевать днем. До рассвета они вряд ли предпримут новые передвижения. Узенькая горловина, выводящая нас к своим, видимо, до рассвета останется неперехваченной.

Рахимов докладывал спокойно, деловито, немногими словами. Это я очень ценил в нем: точность выражения. Он был точным даже в том, чего не знал, — об этом он так и говорил: не знаю. Он не знал сил противника, прорвавшегося в двух местах; не знал, где штаб полка, не захвачен ли, не погиб ли; не знал, куда отходят наши части, но установил, что туда, к своим, есть щелочка.

Предварительные распоряжения он отдал без меня.

Боеприпасы, продовольствие, инженерное имущество, медпункт — все было на колесах, лошади запряжены.

В критический час он действовал быстро и разумно: он докладывал без единого суетливого жеста, без нервной нотки в голосе.

А я молчал.

5

Требовалось произнести «да», и батальон, изготовленный к движению, тронулся бы, выскальзывая из пасти. Но я молчал.

Поймите меня. Два часа назад со мной говорил по телефону командир полка майор Елин. Я помнил разговор, помнил все торопливые, отрывистые фразы: «Момыш-Улы, ты? Поздно. Отставить. Противник прорвался. Одна колонна идет к штабу полка. Я отхожу. Другая, неясной численности, двигается к тебе, во фланг. Загни фланг! Держись! Потом...» И будто кусачки отхватили голос, связь оборвалась.

«Потом...» Что потом? Отходи?

Стыдно признаться, но было мгновение, когда я поддался низкому самообману. Я будто уговаривал сам себя, внушая себе: «Ведь ты слышал, слышал и следующее слово, не целиком, но первый слог, первые буквы: потом отх...»

Враки! Не ври, не вертись перед своей совестью! Слышал или нет? Приказал тебе старший начальник отходить, или нет у тебя этого приказа?

Рахимов ждал. Требовалось произнести «да», и батальон, изготовленный к движению, тронулся бы, выскальзывая из пасти. Но я молчал. У меня не было приказа.

Мог ли майор Елин сказать «отходи»? Да. Ведь он сообщил: «Я отхожу». Но мог и не сказать. Два часа назад обстановка была иной. Слева от нас фронт не был разворочен, там не зиял пролом.

А теперь? Где он теперь, командир полка? «Я отхожу». Куда? Связь прервалась раньше, чем он успел сказать, куда, в какую сторону, по какой дороге или вовсе без дороги отступил почти беззащитный штаб. У командира полка не осталось резерва; там, при штабе, один пулемет; там, вместе со штабными командирами, всего тридцать-сорок человек. Живы ли они? Может быть, где-нибудь отстреливаются, окруженные? Или гу-

ськом, насторожившись, где-нибудь пробираются сквозь лес? Или отскочили направо, к батальонам, что остались по ту сторону Красной Горы?

Знает ли он, командир полка, что наш батальон в петле. Он, наверное, двадцать раз скомандовал бы, если бы мог: «Пользуйся темнотою, отходи и к утру встань перед противником, как из-под земли, на новом рубеже!»

Но связи нет, мы отсечены.

Рахимов ждет. За стенами блиндажа, залегши подковой, ждет батальон.

А я молчу. У меня нет приказа.

6

Телефонист сказал:

— Товарищ комбат, вас...

— Кто?

— Лейтенант Краев.

Я взял трубку. Ни с кем не хотелось говорить: душу и тело охватила странная апатия.

Краев сообщил, что в Новлянское, очищенное нами, вновь вступил противник. По донесению наблюдателей, вошло четырнадцать грузовиков с пехотой.

— Откуда? По какой дороге?

— Из Новощурино.

Очевидно, в Новощурино у противника был пункт сосредоточения. Противник оборачивал оттуда мотопехоту против нас.

Кто-то вошел. В другое время я тотчас оглянулся бы... А теперь не хотелось двинуть головой, кого-то увидеть, что-то выслушать, что-то ответить. Держа трубку, я через плечо буркнул:

— К Рахимову...

Краев передавал подробности.

— Разошлись по селу, товарищ комбат. В домах вздули свет. Окон не маскируют. Погнали несколько грузовиков к реке. Кажется, с понтонами.

Неужели уже сегодня взамен взорванного нами моста у немцев будет новый? Выходит, она не застопорила на ночь, она совершает обороты, немецкая военная машина.

— Нас не видят? — спросил я.

— Нет... Но с нашей стороны прикрылись охране-

нием. Наверно, и пулеметы где-нибудь установили. До утра, товарищ комбат, думаю не сунутся.

Как всегда, Краев говорил, будто запыхавшись. Он замолчал, но в трубке слышалось его дыхание. Краев тоже чего-то ждал от меня, хотел моего слова.

Но что я мог, что должен был ему сказать?

7

Я сказал:

— Хорошо.

И положил трубку.

В углу сидел Шилов, не шевелясь, не меняя положения. Близ лампы стоял сосредоточенный, серьезный Исламкулов.

— Где Рахимов? — спросил я.

— Вышел к разведчикам. Привезли донесение...

— Что еще там?

— Не знаю... По виду ничего экстраординарного.

Я посмотрел на Исламкулова долгим невеселым взглядом. Тянуло спросить: «Понимаешь, ли ты меня, друг?» Черные глаза — настороженные, соображающие — ответили: «Понимаю».

Исламкулов проговорил:

— Думаю, выберемся, Баурджан... — И улыбнулся.

Нет, он не понимал.

Я грубо ответил:

— Потрудитесь оставить ваше мнение при себе. Я не созывал, товарищ лейтенант, и не намерен созывать военного совета.

Он вытянулся.

— Виноват, товарищ старший лейтенант... Разрешите удалиться?

Но виноват был не он, а я. Я поддался слабости, взглядом выдал растерянность, взглядом попросил: «Помоги». Тебе обидно, Исламкулов, но я накричал на себя.

— Садись, — примирительно проговорил я.

8

Есть древняя казахская пословица: «Честь сильнее смерти». Три месяца назад в станице Талгар, близ Алма-Аты, в жаркий июльский день я держал первую речь перед батальоном, перед несколькими сотнями

людей, еще одетых в штатское, перед теми, что с винтовками лежат сейчас на снегу, на мерзлой земле Подмосковья. Я привел им тогда эту пословицу, эту заповедь воина.

Там же, в Алма-Ате, однажды ночью со мной говорил Панфилов. В большом каменном доме, в штабе дивизии, все спали, кроме дежурных. Не спал и Панфилов. В этот поздний час, утомленный, без генеральского кителя, в белой нижней рубашке, с полотенцем в руке, он заглянул в дежурку. Дежурил я. «Садитесь, товарищ Момыш-Улы, садитесь...» Присел и он. Начался памятный мне разговор. После нескольких вопросов Панфилов задумчиво сказал: «Да, батальоном, товарищ Момыш-Улы, вам не легко будет командовать». Это задело. Я выпалил: «Но умереть сумею с честью, товарищ генерал». — «Вместе с батальоном? — «Вместе с батальоном». Он рассмеялся. «Благодарю за такого командира. Эка вы легко говорите· умру с батальоном. В батальоне, товарищ Момыш-Улы, семьсот человек. Сумейте-ка принять десять боев, двадцать боев, тридцать боев и сохранить батальон. Вот за это солдат скажет вам спасибо!»

И последние слова, которые я от него слышал несколько дней назад, которые звучали, как завет, слова, сказанные при расставании, были о том же: «Берегите солдата. Других войск, других солдат у нас тут, под Москвой, нет. Потеряем эти — и нечем держать немца».

Чего же мучиться? Рахимов все подготовил; тяжести на колесах; надо молвить: «Быть по сему!» — и батальон двинется, батальон будет сохранен.

У меня нет приказа, нет радиосвязи. Но в такой момент, когда разворочен, исковеркан фронт, когда немцы двумя колоннами, растекающимися в глубине, идут к Волоколамску, перехватывая дороги, перерезая провода, ломая управление, могу ли я, имею ли я право ожидать, что войдет офицер связи и вручит приказ?

А если он не нашел пути, если всюду встречал немцев? Если убит? Если заблудился, пробираясь без дорог?

Мне неотвязно чудилось: сквозь ночь доходит, стучится в мозг призыв Панфилова. Я не мог отделаться от ощущения, что слышу — или, лучше сказать, улав-

ливаю, воспринимаю, — как издалека он зовет меня, как повторяет мне: «Выходи! Выводи батальон! Вы нужны, чтобы прикрыть, скорей прикрыть Москву! Скорее выводи!»

Мне видилось, как радостно он встречает нас, жмет мою руку, спрашивает: «Батальон цел?» — «Да, товарищ генерал!» — «Пушки, пулеметы?» — «С нами, товарищ генерал...»

Нет, к черту видения! Я стремился подавить, отринуть этот голос, этот зов. К черту! Это мистика, самовнушение. Командир не имеет права поддаваться таинственным нашептыванием. Ему дан разум.

«Умом надо воевать», — говорил Панфилов.

9

Вспоминалось каждое слово, сказанное Панфиловым в нашу последнюю встречу.

«...Противника мы нашей ниткой не удержим».

«...Будьте готовы быстро свернуться, быстро передвинуться».

«...Действовать так, чтобы везде, где бы он ни прорвался, перед ним на дорогах оказались наши войска».

Вспомнилась панфиловская спираль-пружина.

Ведь при встрече у капитана Шилова Панфилов вводил меня в свои мысли. Он хотел, чтобы я, комбат, уяснил его, командира дивизии, оперативный план; хотел, чтобы в меняющейся обстановке, среди сотрясений и толчков битвы, я действовал с умом, понимал, угадывал, — здесь уместно это слово, — чего ждет от меня тот, кто управляет боем.

Это не мистический зов, не чертовщина, не самовнушение.

Чего же я медлю? Довольно переживать. Надо стряхнуть проклятую расслабленность. Моего слова ждут. Надо решать. Надо командовать.

10

Вернулся Рахимов.

— Что там?

— Небольшая неприятность. Долгоруковка занята противником.

— Долгоруковка?

— Да... На пути, который был свободен. Вошла, как сообщили, незначительная группа — человек сорок, взвод.

Рахимов указал Долгоруковку на карте. В узком коленчатом проулке, слабо помеченном красным пунктиром, один изгиб он обвел темно-синим. Горловина была заткнута.

Так... Противник не теряет времени. Передвижения продолжаются. Она еще не затихла на ночь, она совершает обороты, немецкая военная машина.

— Я переговорил с разведчиками, — продолжал Рахимов. — Разрешите доложить мои соображения...

— Давайте.

Рахимов сказал, что по его мнению, характер местности позволяет поступить двояко. Можно, не дойдя полутора километров до Долгоруковки, свернуть в поле и прогалиной, меж двух островов леса, где нет ни оврагов, ни пней, где вместе с пехотой легко пройдут пушки и обозы, обогнуть деревню. Потом, проделав этот крюк, опять выйти на дорогу. Можно, конечно, и уничтожить группировку в Долгоруковке, но это вряд ли удастся без шума. Противник всполошится...

— Кто там разведал местность? — сказал я. — Давайте-ка его бегом сюда.

Отворив дверь, Рахимов кого-то кликнул. В блиндаж поспешно вошел лейтенант Брудный.

11

Лейтенант Брудный! Тот самый, кому несколько дней назад я крикнул: «Трус! Ты отдал Москву!», тот, кто, изгнанный из батальона, пошел обратно, в сторону врага, и наутро принес оружие и документы двух немцев, которых он ночью приколол, принес и положил передо мною, как свою потерянную честь. Я назначил его, как вы, быть может, помните, заместителем командира взвода разведки.

— Товарищ комбат, по вашему вызову явился.

Быстроглазый, бойкий, раскрасневшийся, он ожидал вопросов.

А я смотрел на него, потрясенный. Ему, ему я недавно крикнул: «Трус! Ты отдал Москву!» Так вот как оно бывает, вот как отходят без приказа. Тут и видения,

и гипнотизирующий зов, и думы о солдатах, и логические выкладки—все ведет к одному, все велит: отходи!

Вот оно что! Значит, и рассуждения тянут меня туда же, значит, и они служат тут страху.

Приказа об отходе нет, так к черту рассуждения! Нет, я не прав! Не повторял ли нам Панфилов, что всегда, при всех обстоятельствах, командир обязан думать, размышлять?

Я вновь попытался представить положение дивизии после прорыва немцев; представить действия Панфилова, его план обороны. «Не линия важна — важна дорога», — недавно внушал он мне. Дорога, пролегающая через Новлянское, поручена нам, моему батальону. Панфилов знает нас, знает меня. Быть может, как раз в эту минуту он соображает: батальон Момыш-Улы не уступит дорогу, не уйдет без приказа. Быть может, это входит сейчас в его расчеты, когда он, маневрируя малыми силами, расставляет заслоны, передвигает части, чтобы сомкнуть фронт в глубине.

Ну, а если не так? Если у Панфилова не хватает войск, чтобы закрыть прорыв? Если ему до крайности нужен, немедленно нужен наш батальон? Если приказ об отходе послан, а офицер связи не смог к нам добраться? Не знаю. Не хочу об этом думать. Приказа нет — и точка.

Я ничем не выдал колебаний, которые минуту назад раздирали меня. О колебаниях комбата ведает он один. В батальоне он единовластный повелитель. Он решает и диктует повеления. Я решил.

12

— Ну, Брудный, — сказал я, — в путь-дороженьку готов? Проходы выведал?

Он задорно ответил:

— Это, товарищ комбат, мне как щенка подковать... Проведу и выведу... Мимо Дологоруковки вполне пройдем.

Порывисто встал капитан Шилов. Он уже некоторое время сидел, подняв голову, прислушиваясь.

— Товарищ старший лейтенант... со мной тут несколько моих бойцов, они просят вас использовать их в

группе, которая пойдет впереди, когда батальон будет пробиваться.

Он опять говорил скупо и, проговорив, плотно сомкнул губы, будто сдерживая готовую прорваться речь. Ни единым словом Шилов не пытался оправдать себя.

Мой ответ был короток:

— Я пробиваться не буду. У меня нет приказа.

Все молчали, как положено молчать, когда командир объявляет решение.

Одной фразой я перечеркнул распоряжения Рахимова, сделанные без меня, но его сухощавое бесстрастное лицо не выразило ничего, кроме внимания. Чуть нагнув голову, он стоял, готовый, как всегда, выслушать, сообразить, исполнить.

Я продолжал:

— Буду бороться в окружении...

Устав Красной Армии, как я уже вам говорил, предписывает командиру говорить о своей части «я». «Я» командира — его солдаты. Они, они будут бороться в окружении.

— Вам, лейтенант Брудный, нынешней ночью придется попутешествовать промеж немцев. Отправитесь вдвоем с Курбатовым.

На карте я указал десять-двенадцать населенных пунктов, где предположительно мог обосноваться штаб полка.

— Если в этой деревне немцы, — говорил я Брудному, — добирайтесь в следующую. Если и там противник, идите дальше. Задача: нигде не угодить под пулю. Разыщите штаб полка, доложите обстановку, вернитесь сюда с приказом.

— Есть, товарищ комбат.

Он отправился.

Капитан Шилов подошел к карте.

— Орудия мои там.

Он выговорил это с натугой.

— Где? Взорваны?

— Нет... Брошены в лесу...

Он пометил карандашом на карте.

— Сколько?

— Шесть пушек... Четыреста снарядов.

— Слушайте, капитан, — сказал я, — а не попробовать ли нам вытянуть их оттуда? Берите моих лошадей, берите бойцов. Пойдемте?

Шилов сумрачно улыбнулся одной стороной рта.

— Нет, теперь я не ходок...

Повернувшись, он откинул шинельную полу. Я увидел распоротую штанину, разрезанное голенище. Распухшая нога была перевязана. Сквозь марлю просочилась кровь. Кровью напиталось сукно брюк.

— На медпункте были? — спросил я. — Кость цела?

— А черт ее знает... Бойцы перевязали. Орудия бросили, — у Шилова впервые, наконец, вырвалась яростная ругань, — а меня вынесли...

Не сгибая в колене простреленную ногу, он тяжело сел на табурет.

— Синченко! — крикнул я. — Носилки. Живо!

Шилов долго молчал, потом произнес:

— Вот сижу, думаю о батальоне и не могу решить: закономерно ли разбит батальон? Да, бойцы обучены были плохо...

Он вновь выругался и, посмотрев на меня, с неожиданной силой продолжал:

— Думаете, все разбежались, как бараны? Нет, две роты мужественно дрались... И ведь не покинули своего командира, ведь...

И он опять сомкнул губы, не договорив.

К блиндажу доставили носилки. Опираясь на Синченко, Шилов вышел.

13

Исламкулову я приказал выводить свой взвод в обход деревни Долгоруковки.

Это подразделение не принадлежало батальону, и я не считал возможным задерживать у себя сорок-пятьдесят бойцов, зная, что сейчас Панфилов напрягает усилия, дабы малыми силами закрыть дороги перед прорвавшимся врагом, что у Панфилова в этот момент на счету каждое отделение, каждый взвод

Покраснев, Исламкулов попытался возражать. В нем заговорило благородное стремление разделить нашу участь. Но я не позволил прекословить.

Рахимов спросил:

— Втянемся в лес? Оборона по опушке?

— Да.

Ни о чем больше не расспрашивая, Рахимов взял

бумагу и, быстро набросав очертания леса, стал размечать ротные участки круговой обороны.

Вместе с Исламкуловым я вышел наружу.

Было темно и тихо. Нигде не гремели пушки; не слышалось ни близкого, ни дальнего боя. Над черными сучьями стояли звезды.

— Иди, — сказал я, — там ты нужнее.

Он нерешительно произнес:

— Бауржан...

Я молча позволил в минуту прощания назвать себя так. Он повторил смелей.

— Бауржан, если это действительно так, если там нужнее один взвод, то батальон... Рассуди сам...

— Не могу, Исламкулов, не имею права и не буду рассуждать. Иди!

Мы не поцеловались. Это не принято у нашего народа.

14

Рахимов в несколько минут изготовил грубую схему: наш отдельный лес — по местному выражению — остров; ближние населенные пункты, ближние опушки — дороги. Очертания острова делились на ротные участки. В центре был отмечен дом лесника, где расположился медпункт. Дом, как мы знали, был достаточно обширен, и с моего согласия Рахимов нарисовал там флажок — мы перемещали туда, в центральную точку, командный пункт батальона.

Схема была сработана сразу начисто, сразу под копирку, в четырех экземплярах, для вручения командирам рот. Подавая на подпись, Рахимов произнес:

— Ночью незаметно окопаемся. Пожалуй, и утром не заметят.

Меня передернуло.

Эх, Рахимов! Чего-то не хватало ему, чтобы быть не только начальником штаба, но и командиром.

— Телефонист, — сказал я, — вызовите батарею...

— Есть, товарищ комбат... Говорите, товарищ комбат. У телефона командир батареи.

Я взял трубку:

— Наблюдаете за противником? Немцы в селе?

— Да, товарищ комбат. Пропустил их, как вы приказали.

— Что делают?

— У реки при кострах мост ладят. Другие в домах или у машин на улице.

— Орудия наведены?

— Наведены.

— Дай прямой наводкой, залпами сорок снарядов, чтобы завопили.

— Есть, товарищ комбат, сорок снарядов залпами.

Через минуту земляная толща гулко донесла в наше подземелье орудийный залп.

Я не желал, чтобы нас не замечали.

Пушечным грохотом, внезапно возникшим над затихшими полями, далеко раскатившимся во тьме, я возвещал: мы здесь!

Атакуйте нас! Поверните против нас, направьте против нас артиллерию и пехоту, ударьте с воздуха — мы здесь!

Лишенные связи, в клещах, мы не ушли, как ни манила уйти последняя свободная дорога — узкая продушина, которой завтра не станет.

Так не прятаться же мы остались, не прятаться, а приковать к себе врага, оттянуть на себя удары, предназначенные тем, кто на новом рубеже заслонил Москву.

Наши пушки били по видимой цели, напрямик, с расстояния семисот метров. Каждый залп возвещал: мы не ушли, мы здесь.

В какой-то точке, нам неведомой, нас слышит штаб полка. Где-то приподнял голову Иван Васильевич Панфилов, вскинул брови, радостно вымолвил: «Ого!»

Я опять вызвал к телефону командира батареи:

— Как гансы? Завопили? Еще залп! По домам, фугасными.

И вышел из блиндажа.

Близко рявкнули пушки. В небе возник белый взблеск. Так их, так их!

В лесу снова темень, снова тишь... И вдруг, словно нескорое эхо, докатились глухие удары других пушек. Я вытянул шею, жадно прислушиваясь. Пушки опять подали голос. Они рокотали за десяток километров справа, и как будто (это трудно было определить с точностью), как будто на линии батальона, на рубеже Ру-

зы. Сзади, из глубины, дошел очень далекий, но длительный мощный звук. Казалось, в той стороне кто-то тронул басовые струны, невидимо протянутые в небе. Это «катюша»! Сотней снарядов, выпущенных одновременно, создающих в полете такой гул, где-то далеко-далеко накрыты на ночлеге немцы.

Гул прокатился... В лесу опять тихо, темно...

В ДОМЕ ЛЕСНИКА

1

Большие рубленые сени разделяли надвое дом лесника. В одну половину перенесли всех раненых; в другой, куда уже подвели связь, собрались вызванные мною командиры и политруки.

Я сказал:

— Слушайте мой приказ. Первое. Батальон окружен. Мое решение: бороться в окружении до получения приказа об отходе. Участки круговой обороны указаны командирам рот. Ночью работать, чтобы к свету каждый боец отрыл окоп полного профиля. Второе. В плен не сдаваться, пленных не брать. Всем командирам предоставляю право расстреливать трусов на месте. Третье. Беречь боеприпасы. Дальнюю ружейную и пулеметную стрельбу запрещаю. Стрелять только наверняка. У раненых и убитых винтовки и патроны забирать. Стрелять до предпоследнего патрона. Последний для себя. Четвертое. Артиллерии вести огонь исключительно прямой наводкой в упор по живой цели. Стрелять до предпоследнего снаряда. Последним — взорвать орудие. Пятое. Приказываю все это объявить бойцам.

2

Вопросов не было. Политруку пулеметной роты Бозжанову я велел остаться. Другие ушли.

— Бозжанов, где твои орлы?

— Здесь, товарищ комбат, около штаба.

— Сколько их?

— Восемь.

Это были несколько связных и пулеметный расчет Блохи — горстка, что в недавнем бою, подпустив шагающую вражескую цепь, ударила кинжальным огнем.

— Отправишься с этой командой к немцам, — сказал я.

Затем, положив карту, показал карандашную пометку, которую оставил капитан Шилов.

Там среди леса были брошены пушки и снаряды. Надо попытаться, объяснил я, вытянуть это из-под носа у противника.

— Возьми лошадей, упряжь, ездовых. Действуй хитро, тихо...

— Аксакал, — с улыбкой сказал Бозжанов.

— Что?

— Аксакал, я хотел вас просить. Пускай эти люди так и будут моим подразделением.

Я уже говорил, что пулеметы были приданы стрелковым ротам и в батальоне уже, по существу, не стало отдельной пулеметной роты, политруком которой числился Бозжанов.

— Что же это будет за подразделение?

Бозжанов быстро ответил:

— Резерв командира батальона... Ваш, аксакал.

— Ну, командир резерва, — сказал я, — пойдем к твоему войску.

3

В лес проникал неясный свет луны.

— Стой! Кто идет?

— Мурин, ты? — спросил в ответ Бозжанов.

— Я, товарищ политрук.

Все войско Бозжанова поместилось под одной елкой. Тесно прикорнув друг к другу, поджав ноги, накрывшись с головою плащ-палатками, пригревшись на хвое, бойцы спали.

Мурин дежурил. Рядом с пирамидкой винтовок чернел пулемет.

— Надо поднять, Мурин, людей, — сказал Бозжанов.

Огромного Галлиулина сон сморил крепче, чем других. Он приподнялся, сел и опять ткнулся в мягкий хвойный подстил. Его растолкали.

— Взять винтовки! Выстроиться! — негромко скомандовал Бозжанов.

Оглядев коротенький строй, он шагнул ко мне, отрапортовал.

— Объявите мой приказ, — сказал я.

— Вот, товарищи, — начал Бозжанов, подойдя к строю. — Батальон окружен.

Затем, по-прежнему негромко, он изложил пункт за пунктом: занять круговую оборону, в плен не сдаваться, беречь боеприпасы, стрелять лишь наверняка, стрелять до предпоследнего патрона, последний для себя.

— Последний для себя, — медленно, будто взвешивая, повторил он. — Хочешь жить — дерись насмерть.

У Бозжанова иногда рождались такие афоризмы. Глядишь, мимоходом сказал слово, а в нем — философия, мудрость... Это я замечал на войне не за ним одним. Настоящий солдат, у которого на войне, в бою мобилизуются все клеточки мозга, может сказать мудрую мысль. Но именно настоящий.

Бозжанов продолжал:

— У нас пушки, пулеметы, у нас боевое братство... Попробуй подступись...

Я сказал:

— Объявите, товарищ политрук, задачу группы.

Бозжанов неторопливо объяснил, что придется идти в расположение немцев за оставленными в лесу пушками.

— Можно разойтись, — сказал я, когда он закончил. — Приготовьтесь. Проверьте оружие. Соберите вещи. Но сначала подойдите-ка сюда, друзья.

Они подскочили мигом. Только длинный Мурин остался часовым у пулемета. Ему тоже не терпелось слышать, он вытянул шею, в свете луны поблескивали его очки. «Друзья!» Первый раз я так назвал своих солдат. Мне никогда не нравилось, когда, обращаясь к бойцам, говорили: «хлопцы», «ребятки». Осторожно— «ребятки». В игрушки мы играем, что ли? Но «друзья» — это иное.

— Сегодня вы, товарищи, дрались хорошо, грамотно.

Они стояли не в строю. Общего ответа не полагалось. Никто не заговорил.

— Теперь изловчитесь-ка: тихонько вытащите эти пушки и снаряды. Тогда будем богачами.

Муратов сказал:

— Товарищ комбат, колбасы нам с собою надо.

Он, видимо, хотел рассмешить, но никто не засмеялся. Маленький татарин заспешил:

— Я это, товарищ комбат, не в шутку. Там у них, может быть, танки.

— Придумываешь, Муратов, — с неодобрением сказал Бозжанов.

— Что вы на меня? Я, товарищ комбат, серьезно. Они в танках спят, а к танкам, я слыхал, на ночь собак привязывают.

— Не болтай пустое, — сурово сказал Блоха.

Это не было пустым. О собаках действительно следовало подумать, но минута требовала иных слов, иного разговора. Слов не нашлось. Все молчали.

— Товарищ комбат, разрешите, — сказал Мурин.

Я насторожился, но Мурин просто спросил:

— Кому сдать пулемет?

Вспомнилось, как три месяца назад он впервые подошел ко мне: в пиджаке, в галстуке, немного съехавшем набок, в очках, длинный, неловкий, не знающий, как стоять перед командиром, куда деть незагорелые тонкие руки. Он явился с обидой: «Меня зачислили, товарищ комбат, в нестроевые. Дали лошадь и повозку. А я абсолютно не имею понятия, что такое лошадь. И не для этого я шел». Вспомнилось, как, поддавшись панике, он постыдно удирал вместе с другими, когда внезапно вблизи застрочил пулемет и кто-то крикнул: «Немцы!» У него дрожала винтовка, когда, стоя в шеренге, он целился в изменника, в труса, которого я приказал расстрелять перед строем.

Быть может, острее, чем кто-либо другой, Мурин испытывал страхи войны, внутреннюю борьбу, мучительное духовное перерождение с возвращающимися приступами смертной тоски и потом жгучую радость воина, убившего того, кто вселял страх, кто шел убить.

Теперь, выслушав приказ, узнав, что надо идти в становье врага, он просто спросил:

— Кому сдать пулемет?

Что он? Все в нем притупилось? Не переживает?

— Вряд ли, товарищ Мурин, вы там будете полезны. С лошадьми вы не управитесь. Оставайтесь-ка у пулемета.

Я ожидал солдатского ответа: «Есть!», но его не было. Мурин заговорил не сразу.

— Товарищ комбат, разрешите просить вас... В такой момент... — Он приостановился, передохнул, про-

должал глуше: — В такой момент хочется, товарищ комбат, быть с товарищами. Прошу вас: куда они, туда и я...

Он, значит, переживал, он думал. Не служба, не дисциплина, а что-то более человечное, более высокое сейчас двигало им. Это трудно объяснить, но мне приоткрылась душа солдата, душа батальона. Пронзила уверенность: да, будем жестоко драться, будем убивать и убивать до последнего патрона.

Я сказал:

— Хорошо, Мурин. Бери, Галлиулин, пулемет. Берите ленты. Отнесите в штаб. Блоха, постройте людей. В путь, товарищи!

4

Потянулись ночные часы, ночные думы.

Бойцы вкапывались в землю по всему краю леса, взмотыживая мерзлый слой, обрубая корневища. Просекались тропы для маневра орудиями. Работали пилы, падали деревья.

Мы не таились. Пусть знает противник: мы здесь! Ему не владеть большаком, что идет через Новлянское: дорога под нашим огнем. Тут, близ нашего острова, не пройдут машины, не пройдет артиллерия.

Ну и что из этого? Колонны текут другими дорогами, через другие пункты, через Сипуново, через Красную Гору. Но ведь оттуда, из-за Красной Горы, нам откликнулись пушки. Где-то удержались наши, где-то вцепились, как и мы, в клочок земли, перекрыли пути в разных точках.

Но фронт все-таки раздроблен, преграда прорвана, мимо нас немцы движутся к Волоколамску, к Москве. Удастся ли остановить врага под Волоколамском?

Опять нестерпимо потянуло туда — к Панфилову, к своим.

Где сейчас Брудный? Вернется ли до света? Привезет ли приказ? Успеем ли уйти, пока темно?

Нет, Бауржан, не жди... Штаб полка, может статься, погиб. Где-нибудь, может статься, окружен и штаб дивизии. А завтра-послезавтра линия боев окажется в тридцати, в сорока километрах позади нас. И приказ не дойдет, приказа не будет.

Что тогда? Я командир, я обязан холодно рассмотреть худшее. Приказа не будет. Что тогда?

Противник сузит кольцо, предложит сдаться, мы ответим пулями. Я верил моим бойцам. И знал: они верят мне, своему командиру. Мое слово, мое приказание переданы им.

Они роют и роют сейчас, кланяются матушке земле, заступнице солдата. В земляных дудках нас не достанешь снарядами и бомбами. Нужна вся артиллерия, сосредоточенная немцами в районе прорыва, чтобы перебить нас орудийным огнем. Бомбежку выдержим. Вытерпим и голод. Есть лошади — конины хватит надолго. Попробуйте суньтесь, раздавите-ка нас!

У меня шестьсот пятьдесят бойцов. Каждый убьет несколько немцев, прежде чем падет в бою. Нужна дивизия, чтобы истребить наш батальон. Полдивизии — долой! Пусть-ка немцы уплатят эту цену за батальон панфиловцев.

Уйдя в мысли, я сидел на командном пункте, в крепко срубленном доме лесника, на штабной половине. Здесь уже стояли телефоны: отсюда шли провода в роты и к орудиям.

Отсюда я смогу управлять сопротивлением, смогу перебросить силы навстречу врагу, если, пробив брешь, он вклинится в лес. Мы тогда будем драться в лесу, убивая из-за деревьев, из-за пней, отходя шаг за шагом.

Последняя черта, последний обвод будет здесь, у дома лесника.

Не спят после смены часовые и телефонисты: они роют оборону вокруг штаба, роют ямы, траншеи, запасные пулеметные гнезда, валят лес на завалы. Мы заложим бревнами окна, прорежем в срубе бойницы, будем драться и здесь, в этом доме. Сюда принесены два ящика гранат, в сенях стоит пулемет.

Я верил своим бойцам, своим командирам: никого не возьмут живым.

Подползла зловещая мысль: а раненые?

5

А раненые? Как поступлю с ними?

Через сени я прошел на другую половину, к ним.

Фитиль керосиновой лампы был привернут. Наш фельдшер, голубоглазый старик Киреев, топил печь.

Дверца была раскрыта. Отсветы огня мелькали на бревенчатой стене, на серых одеялах, на неподвижных лицах.

Кто-то бредил. Кто-то тихо сказал:

— Товарищ комбат!

Ступая на носки, я подошел. Меня звал Севрюков. Он лежал навзничь, на краю наскоро сбитых нар; вдавившаяся в подушку голова не поднялась. Он дышал с легким свистящим звуком; осколки врезались в грудь и в пах; раны были тяжелы, но не смертельны. Промелькнуло странное чувство: показалось, я помню его раненым давно-давно, в действительности же это случилось всего несколько часов назад.

Я присел в ногах. Опершись локтями, Севрюков попытался приподняться, сморщился и глухо застонал. Подбежал Киреев. Осторожно укладывая Севрюкова, он ворчливо и ласково выговаривал ему.

— Идите, Киреев, — коротко произнес Севрюков.

И молчал, пока фельдшер не удалился к печке, потом шепотом сказал:

— Наклонитесь немного. Я хочу вас спросить: что там? — Он показал взглядом за стену. — Что такое, товарищ комбат?

— Как что такое?

— Почему вы не отправляете нас в тыл?

Что ответить? Обмануть? Нет. Пусть Севрюков знает. Я сказал:

— Батальон окружен.

Севрюков закрыл глаза. Серое на белой подушке лицо с проступившей щетиной, с аккуратно зачесанными седоватыми у висков волосами казалось безжизненным. О чем он думал? Темные веки поднялись.

— Товарищ комбат... прошу дать мне оружие.

— Да, это надо, Севрюков. Распоряжусь.

Я хотел встать, но Севрюков взял мою руку.

— Вы... вы не оставите? Не оставите нас?

Рукой и глазами он цеплялся за меня.

— Нет, Севрюков, не оставлю.

Пальцы легко разжались. Он слабо улыбнулся мне, он верил комбату.

С тяжелой душой я неслышно пошел к двери. Но раздалось еще раз:

— Товарищ комбат...

Не хотелось, но пришлось подойти.

— Сударушкин, ты?

Голова под белым незагрязнившимся бинтом казалась странно толстой. Перевязка охватывала лоб, но лицо было открыто. На одеяле неподвижно, будто не своя, лежала забинтованная, тоже странно огромная рука.

— Когда это он тебя?

— А вы, товарищ комбат, разве не помните? Вы же шумнули мне: «Молчи!»

Так это был он... Вспомнилось залитое кровью лицо, красные мокрые руки, однообразные жуткие вскрикивания. Я приказал: «Молчи!» — и он кротко замолчал.

Сударушкин спросил:

— Отогнали его?

Зачем до времени бередить его душу? Я сказал:

— Да.

— Слава те... А меня, товарищ комбат, на поправку домой пустят?

— Конечно, — сказал я.

Он улыбнулся.

— А потом, товарищ комбат, я опять заступлю к вам, опять буду у вас бойцом...

— Конечно.

И я быстро пошел, чтобы не выслушивать вопросов, не отвечать, не лгать.

Обернувшись, я увидел капитана Шилова. Полусидя, прикрытый одеялом лишь до пояса, он оперся спиною о бревенчатую стену и смотрел на меня. Ночник бросал слабый свет; глубокие тени резко очерчивали осунувшееся лицо. Вероятно, он не мог и не пытался уснуть. Доставленный сюда с раздробленной ногой, он один тут среди раненых, знал то, что пока было неизвестно остальным. Знал и молчал. Он промолчал и сейчас, ни о чем не спросил, не разжал даже губ.

Как быть с этими беспомощными, беззащитными людьми? Отвечайте мне: как быть?!

Могу ли я поступить так?..

...Когда вплоть подойдет конец, когда останется одна пулеметная лента, я войду с пулеметом сюда. Низко поклонюсь и скажу:

— Все бойцы дрались до предпоследнего патрона, все мертвы. Простите меня, товарищи. Эвакуировать вас я не имел возможности, сдавать вас немцам на му-

ки я не имею права. Будем умирать, как советские солдаты.

...Я последним приму смерть. Сначала приведу пулемет в негодность, потом убью себя.

Могу ли я так поступить? А как иначе? Сдать раненых врагу? На пытки? Как иначе? Отвечайте же мне!

...И не останется на свете никого, кто мог бы рассказать, как погиб батальон панфиловцев, первый батальон Талгарского полка.

И когда-нибудь после войны будет найдено, может быть, в немецких военных архивах донесение, где прочтут, сколько врагов перебил окруженный советский батальон. Тогда, может быть, узнают, как дрались и умирали мы в безыменном подмосковном лесу... А может быть, и не узнают.

Тянулись ночные часы, ночные думы.

6

Брудный не возвращался. Бозжанов не возвращался.

Я верхом выезжал на опушку, к линии работ. Бойцы рыли и рыли, уходя в грунт по пояс, по плечи и глубже. Некоторые совсем скрылись; из черных проемов лишь взлетали лопаты, выбрасывая землю.

Месяц то ясно светил, то затуманивался. Мороз отпустил, небо заволакивалось.

Я посматривал в темную даль, откуда мог появиться Брудный. Хотелось вновь дать орудийный залп по Новлянскому, по Новощурино. Мы не спим, так не дадим и вам спать! Но следовало беречь снаряды: они нужны, чтобы держать дорогу, нужны, чтобы встретить, когда придет час, картечью атакующие цепи.

Ночь казалась долгой-долгой. С опушки я направлял Лысанку назад, в штаб. Добрая лошадь медленно переступала меж деревьев. Я не подгонял ее. К чему?

В штабе томился, думал.

Приблизительно в час ночи загудел телефон.

— Товарищ комбат, вас, — сказал телефонист.

Звонил Муратов. Бозжанов отрядил его, своего скорохода, сообщить мне, что его отряд подходит, вывозя снаряды и пушки.

Лысанка была под седлом. Я поспешил навстречу. Четыреста снарядов, ого! Теперь можно трахнуть по

Новлянскому, по Новощурино. Сейчас заголосите, выскочите из тепла, господа «победители»! Мы не спим, и вам не дадим спать!

ВОСЕМЬДЕСЯТ СЕМЬ

1

Верхом, сопровождаемый Синченко, я встретил колонну близ леса.

Остановился, пропуская упряжки. Тяжелые артиллерийские колеса до черной земли продавливали снег.

Бозжанов оживленно докладывал: немцы беспечны, спят, постов нет, никто не помешал его маленькому войску.

Лысанка узнала Джалмухамеда, тянулась к нему мордой; он часто ласкал и угощал мою лошадь; в зубах и теперь захрустел сахар.

Маленькому войску... Кой черт, маленькому? Что это? Откуда он пособрал людей?

Рядом с лошадьми, рядом с пушками, зарядными ящиками шли и шли фигуры с винтовками, в шинелях.

Я спросил:

— Кого ты привел? Что за народ?

Бозжанов радостно ответил:

— Почти сто человек, товарищ комбат. Из батальона Шилова. Выходили по двое, по трое из лесу. Нас чуть не целовали.

Я скомандовал:

— Колонна, стой!

Битюги стали, замер скрип колес.

— Посторонним отойти! За орудиями не следовать! Командир отделения Блоха!

— Я!

— Проверьте исполнение! Синченко!

— Я!

— Передайте мое приказание командиру ближней роты и затем в штаб, Рахимову: ни одного постороннего человека не допускать в расположение батальона...

— Есть, товарищ комбат.

— Отправляйтесь.

Он поскакал.

От длинной цепи упряжек отделялись темные фигуры. Некоторые стояли, отойдя поодаль, другие шли ко

мне. Блоха доложил, что в колонне остались только свои.

— Колонна, марш!

Орудия двинулись. Я молча смотрел. Последним с винтовкой в руке шагал Мурин.

Почуяв повод, Лысанка тронулась вслед.

— А мы? Мы куда, товарищ командир?

— Куда хотите... Бегляки мне не нужны.

2

Они гурьбой шли за Лысанкой, они жались ко мне.

— Товарищ командир, примите нас...

— Товарищ командир, он зашел с тылу, со всех сторон. Вот и получилось, товарищ командир.

— Мы из окружения, товарищ командир!

— В плен, что ли, нас посылаете? Не имеете права...

Я не отвечал. На душе вновь было мрачно. «Из окружения». Опять это слово, которое, будто сговорившись, повторяли скитальцы в солдатских шинелях, что брели через нашу линию из-под Вязьмы. Оно навязло в ушах, оно стало ненавистным.

Хотелось крикнуть: «А где ваши командиры? Почему они не взяли вас в узду?» Но я вспомнил раненого капитана Шилова, вспомнил, с какой страстью он сказал: «Ведь дрались же две роты, ведь не бросили же раненого командира».

И все-таки батальон разбит, рассеян по лесу. «Закономерно ли это?» Так недавно у меня в блиндаже вслух спросил себя Шилов. Спросил и не дал ответа.

Этих солдат жалели до боя. Они бежали от врага, в их душах гнездится страх. Они побегут и здесь. Нет, я не впущу их в наш ощетинившийся остров. Шатнулись в бою? Так шатайтесь и теперь, как — неприкаянные.

Кто-то взял рукой стремя.

— Аксакал, вы не правы, — сказал по-казахски Бозжанов.

Вот как! Нашелся заступник. И он, значит, идет за мной вместе с бегляками, которых пособрал.

— Вы не правы, — повторил он. — Это советские люди, это красноармейцы. Так нельзя, аксакал.

Я не прервал, но и не ответил. Бозжанов продолжал:

— Нельзя, аксакал, их прогонять... Назначьте меня их командиром. Я их привел, я с ними буду в бою. Дайте нам задачу, дайте нам боевой участок.

— Нет, — сказал я.

3

Не понимая казахской речи, все прислушивались, все теснились к Лысанке. По интонациям они, наверное, угадывали: толстый политрук заступился, толстый политрук отстаивает. А этот — сухолицый, едущий на коне, что все время молчит, что бросил какое-то слово,— этот не хочет. Некоторые в зыбком свете месяца старались заглянуть в мое лицо.

Лысанка все тянула, все поворачивала к нашему лесу, словно тоже просила: туда.

Словам Бозжанова я отворил сердце, обдумал. И сказал: «Нет!» И резко направил Лысанку в сторону от леса.

Люди тянулись за мной, лепились ко мне.

Я не мог, — поймите меня, — не мог взять их в батальон. Поработать бы с ними, обжать, прочеканить эту вереницу, и верю, были бы воины на славу. Но надобно время — то, чего у меня нет. Остались немногие часы до жестокого боя.

Что я могу для них сделать? Пусть уходят, помогу им добраться туда, где их обожмут, прокуют... А тут... Тут они не нужны.

Отворачивая от леса, не оглядываясь, я шагом ехал по полю. Меня несколько раз окликнули наши посты.

Вернулся Синченко:

— Приказание исполнено, товарищ комбат.

— Рахимову звонил?

— Да.

Я подождал, не скажет ли Синченко чего-либо еще, нет ли новостей от Рахимова. Но Синченко молчал. Я буркнул:

— Хорошо...

Мы приближались к дороге, что шла на Долгоруковку, что выводила к своим. Там, вдоль узкого проулка, патрулировала наша конная разведка. Ей была поставлена задача: непрестанно следить, свободна ли дорога, не закрылась ли, не заплыла ли щель.

Краешком сердца я все еще надеялся, что, может быть, прибудет приказ, что до света, пока есть скважина, мы, может быть, выскочим из петли.

Разыскав пост конной разведки, я спросил:

— Что нового?

— Ничего... Недвижимо, товарищ комбат.

— Кто знает дорогу?

— Я.

— В обход Долгоруковки?

— Да.

— Отправишься проводником. Проведешь вот этих.

Обернувшись к людям, которые, прислушиваясь, стояли кругом, я показал на дорогу:

— Там Волоколамск, там наши части. Вас выведут. Идите.

И тронул Лысанку назад к лесу.

4

Вдруг за мной побежали.

— Товарищ командир... Товарищ командир...

— Чего там?

— Товарищ командир... Примите нас, товарищ командир.

Я ответил:

— Прекратить базар! Слышали мой приказ? Ни один посторонний человек не будет допущен в расположение батальона.

— Какие же мы посторонние? Мы же свои! Товарищ командир, вы же меня лично знаете. Я Ползунов. При вас со мной разговаривал генерал. Помните?

Ползунов... Во мгле я не видел, но вспомнил юношеское лицо, пухлые, слегка оттопыренные губы, серьезные серые глаза, вспомнил упрямый ответ: «Хорошо, товарищ генерал». Вот тебе и хорошо.

— Что же ты, Ползунов? Генерал сказал: «Хочу о тебе, Ползунов, услышать»... А ты?

Он не ответил. Я повторил:

— А ты? Бежал?

Ползунов мрачно произнес:

— Там погибли бы зазря... Неохота, товарищ командир, помирать зазря...

Кто-то рядом с ним смело заговорил:

— А куда же нам, когда он наскочил сзади? Сидеть по норам, дожидать, чтобы кокнул? Ну и кинулись. Открыто скажу: и я бежал... А какая была мысль? Сейчас ты меня, а потом, изловчусь, — я тебя... Сочтемся. Не пойду, товарищ командир, куда показываете. Пускай один останусь — один буду партизанить! Открыто скажу: что хотите со мной делайте, а не пойду.

Я спросил:

— Фамилия?

— Боец Пашко.

Ползунов поспешил подтвердить:

— Это, товарищ командир, истинно он. Пашко Вы, может, опасаетесь, что тут есть шпионы? Нет, товарищ командир, я всех тут признаю... И по документам можно свериться. Книжки, ребята, у всех есть?

Я сказал:

— Винтовки у всех есть?

— У всех... у всех...

— Каждому отвечать только за себя. Гранаты есть?

— Есть! У меня есть!

Теперь голосов было поменьше.

— Порастеряли с перепугу? Ползунов, будешь за старшего. Построй людей. Приведи в воинский вид. С гранатами на правый фланг.

Не ожидая другой команды, люди стали торопливо строиться.

Ползунов сказал:

— Товарищ командир! Тут есть постарше меня званием.

— В званиях потом будем разбираться. Сейчас у всех вас одно звание: дезертир.

Опять раздался голос Пашко:

— Не принимаем на себя!

— Молчать!

Пашко казался отважнее других, но я видел: первая доблесть солдата — беспрекословное повиновение слову начальника — ему была чужда. Да имей хоть золотую голову, хлебнешь горя, если солдат не подготовлен, как говорил Панфилов... Да, не надо бы их брать... С нерадостным сердцем я скомандовал:

— Ровняйсь! Ползунов, подровняй ряды! Смирно! Разговоры прекратить! Шевеление прекратить! По порядку номеров рассчитайсь!

Ползунов доложил, что в строю вместе с ним восемьдесят семь бойцов.

Я сказал:

— Не бойцов! Восемьдесят семь беглецов, восемьдесят семь мокрых куриц! Долгих разговоров у меня с вами не будет. Вы пустили слезу: примите нас. Москва слезам не верит. Не верю и я. Мой приказ остается неизменным: ни один трус, бежавший с рубежа, не войдет в расположение батальона. В наши ряды встанут лишь бойцы. Вы отправитесь туда, откуда бежали. Вы пойдете дальше, в тыл врагу. Пойдете сейчас. И вернетесь по трупам врагов. Тогда вход будет открыт. Командиром отряда назначаю политрука Бозжанова. Направо! За мной, арш!

5

Подобрав повод, я послал Лысанку ровным, небыстрым шагом. Вслед, строем по два, следовали восемьдесят семь человек. Рядом со мной шел Бозжанов.

Он попросил указаний. Я буркнул:

— Погоди...

На душе было по-прежнему мрачно. Куда я веду их? Иду наобум, без разведки, без плана, сам не знаю куда. Люди не разбиты на отделения, на взводы, не знают места в бою, не сумеют принять боевых порядков. Хотя и выстроенные по два, они остались толпой.

Надо было выделить головной дозор... Надо бы вызвать один или два своих взвода, чтобы ворваться к немцам с двух, с трех сторон.

Надо бы... Эх, что еще надо бы...

Моментами мучительно сверлило сознание долга. Я понимал: я нужен батальону, нужен до конца. Мое место не здесь! Зачем понесло меня во тьму, черт знает с кем, черт знает куда? Я не имею права покидать батальон, не должен влезать в необдуманную, нелепую затею, которая не кончится добром.

И не было сил, не было воли повернуть дело поиному.

Приходила мысль: а вдруг без меня вернется Брудный, вдруг прибудет приказ? И я усмехался: не тешь себя, приказа не будет, не выйдешь.

Потянулась полоса запыленного дочерна снега. Лысанка обходила воронки. Вот и линия окопов — покинутых, безмолвных, пустых.

Тут все знакомо: каждый ходок, каждая тропка — и все неузнаваемо, все дико. Сбоку, в Новлянском, виднелись два-три освещенных окна. Немцы не боялись нас, пренебрегали маскировкой... Взмыла ненависть: ну, погодите!

Я оглянулся на растянувшийся строй. Восемьдесят семь бегляков. Что они смогут? Эх, не так, не так все это надо бы...

Вспомнилось, как неделю назад я отправлял в ночной набег сотню орлов. Нас знобило тогда; прохватывала дрожь подъема, азарта, предчувствия боевой удачи. То была операция, идея, расчет, удар наповал.

А сейчас? Зачем я еду? Кой черт несет меня напропалую?

6

Миновав линию пустых окопов, мы спустились к реке. Тут были знакомы все броды, все бревнышки, перекинутые на курьих ножках с берега на берег.

У такого мосточка я остановил людей. Журча, белым порожком река бежала поверх пары бревен.

На той стороне, в сотне шагов от воды, чернел лес.

Я вполголоса объяснил задачу: подобраться к Новлянскому той стороной, лесом, у села перейти вновь реку вброд, ворваться в село, перебить немцев, поджечь машины, поджечь понтонный мост.

Потом спросил:

— Понятно?

Ответили негромко и немногие:

— Понятно...

До меня не дошли токи возбуждения, подъема перед дракой... Этим людям, только что бежавшим от немца, набравшимся страху, не верилось, что сейчас они будут страшны... А я? Верил ли я?

— Здесь переходить по одному! — приказал я. — Затем двигаться гуськом, рассредоточенно. Ползунов, вперед!

Он побежал с винтовкой наперевес, пригнувшись... У мостика приостановился, ступил на скользкие бревна... Потом темный фон реки скрыл темную фигуру. На белом откосе того берега скоро появился силуэт.

Ползунов поднялся по скату, у гребня прилег, потом привстал, выпрямился и зашагал к лесу.

Я сказал:

— Правофланговый, вперед! В лесу идти гуськом, по порядку номеров. Интервал: пять-восемь шагов.

Повинуясь руке, Лысанка вошла в реку. Тут было мелко, по брюхо.

Почему я приказал двигаться в лесу поодиночке? Зачем с таким интервалом? Открою мою тайную мысль... Думалось: трусы попрячутся. Во тьме леса это легко: подался в сторону, прильнул к дереву и пропал. И черт с тобой, пропадай! Скитайся без родины и чести! Останется, думалось, половина или меньше. Этим поверю, поверну назад, возьму в батальон.

Обогнав Ползунова, я ехал меж деревьев впереди всех, не отдаляясь от опушки, и не оглядывался.

Теплело, с веток падала капель. Облака застилали луну; она едва просвечивала расплывчатым мутным пятном.

Вот и край леса. Рядом дорога, что ведет в Новлянское.

Вблизи понтонный мост, затем взгорок, на взгорке село. Ясно светится несколько окон.

По одному подходили люди. Замыкающим шел Бозжанов. Я приказал выстроиться.

— Ползунов! Пересчитай, сколько налицо?

Пройдя от края до края, он шепотом доложил:

7

— Восемьдесят семь, товарищ командир!

Восемьдесят семь? Все здесь! Все пришли драться!

Пробежал трепет радости. Я ощутил: они уже дороги мне, сердце приняло их. А может быть, то был иной трепет; может быть, уже и от них исходил нервный ток.

Послышался приближающийся гул автомобильного мотора. Я повернул голову на звук, и вдруг сквозь деревья нас обдало белым прожекторным светом. Фары машины, поднявшейся на некрутой изволок, горели в полный свет. Изгиб дороги направил столбы света сюда.

Никто не шевельнулся в строю. Все стояли бледные, почти белые от света, сжимая заблестевшие винтовки, напряженно глядя перед собою. Медленно передвигались черные, будто резные, тени деревьев.

Свет скользнул дальше. Тьма задернула лица. По-

качиваясь вверх и вниз, белые полосы уходили, укорачивались, легли на дорогу.

Я спрыгнул с седла. После ослепительных лучей я никого не различал, лишь смутно виднелись белые чулки Лысанки.

— Лечь! Наблюдать! — приказал я.

Глаза опять обвыкли... Фары отразились в воде. Донесся перестук мостовин. Мы увидели: навстречу машине возникло красное пятнышко электрофонаря. Машина вышла на тот берег и застопорила. К фарам, в полосу света, ступил часовой. Некоторые жесты были понятны. Оборачиваясь, он раза два ткнул рукой к лесу, где засел наш батальон. Потом показал направление к Красной Горе. Очевидно, там пролегал объезд.

Взговорил мотор, свет двинулся, машина взяла подъем, фары на миг выхватили из темноты засеребрившуюся улицу с длинными грузовиками у домов. Потом пучки света поползли в сторону и, покачиваясь вверх и вниз, двинулись вдоль берега, в объезд.

Кто-то подошел ко мне:

— Товарищ командир, я берусь.

Голос был знаком.

— Пашко?

— Да... Я берусь.

— Что?

— Пришью его...

— Часового? Как?

Отвернув шинель, Пашко показал: блеснуло светлое лезвие финки.

— Будь спок... — сказал он. — А потом свистну.

— Нельзя... — Я подал ему электрический фонарик. — Возьми. Зажжешь три раза.

Он сунул фонарь под шапку.

— Могу и трофейным просигналить... Красным. Можно?

— Можно... Зажжешь три раза: путь свободен. Справишься один?

Скорее слухом, чем зрением, я уловил; он усмехнулся.

— Справлюсь...

— Ступай...

Пашко быстро скрылся во мгле.

Ну, будь что будет... Назад мне теперь не повернуть.

Что же, так и ворвемся — ордой? Я подозвал Бозжанова.

— Раздели людей на десятки... Группу возьми себе, ударь в спину охранению, которое расположено напротив батальона. Одному десятку задача: поджечь мост... Остальные пусть орудуют в селе; всех с гранатами туда...

— Есть, товарищ комбат.

Он стал распоряжаться.

Проехали еще две машины. Опять в полосе света появился часовой. Опять фары засеребрили улицу. В каком-то доме отворилась дверь, вышел кто-то высокий, в белье, босиком, и, сонно потягиваясь, стал мочиться с крыльца. Сволочи, вот как они спят на фронте: раздевшись до белья, в домах, в кроватях.

Опять все пропало во мгле. Белые пучки, колыхаясь, завернули в сторону и пошли кружным путем.

Мы лежали, напряженно вглядываясь в мутную черноту ночи, вглядываясь туда, где исчез Пашко. Удастся ли ему? Будет ли сигнал? А потом? Как произойдет оно, это «потом»?

Странное ощущение пронзило на миг: показалось, будто все это точь-в-точь, как сейчас, когда-то уже было (а когда — неведомо; в какой-то другой жизни, что ли?), — мы вот так же лежали во тьме, притаившись, подобравшись сзади к сонному становищу врага, готовые вдруг прянуть туда. Странно, неужели это современная война? Не такой представлялась она.

Но где же сигнал? Томительно долги минуты. Ага, кажется, вот...

В темноте у моста в чьей-то невидимой руке возник красный пятачок... Повисел и исчез... Раз... Засветился опять... Два... Вот и три.

Я сказал:

— Встать! Приготовиться! Гранаты к бою! Ну, товарищи... Закон солдата: пан или пропал! Врываться молча. Бозжанов, веди!

— Через мост?

— Да.

Он шепотом скомандовал:

— За мной!

И побежал. За ним кинулись все.

Через минуту дошел перестук мостовин.

8

Все удалось... Удалось до нелепости легко.

Я медленно въехал по мосту в село, багрово озаренное пожаром.

Кое-где еще лопались гранаты, щелкали выстрелы, раздавались крики. Да, это был не бой, а побоище.

Выставив охранение в сторону леса, куда втянулся наш батальон, немцы улеглись на ночь в кроватях или на сене, раздевшись до белья. Услышав выстрелы, взрывы гранат, они стали выскакивать, заметались, попрятались всюду: под кроватями, в запечьях, в погребах, сараях, трясущиеся от холода, страха.

Не буду описывать этих сцен.

Пылал мост, облитый бензином. Вырисовывалась темная громада церкви. Который раз за одни сутки я возвращался сюда, к этой паперти? Стекла вылетели, оконные проемы были черны, в немногих уцелевших переплетах отсвечивало пламя.

Я отрядил Синченко искать Бозжанова, приказав собирать бойцов, вести в батальон.

9

Опять меж деревьев Лысанка шагала к дому лесника.

Радость отлетела. На душе опять было невесело. В седле я сидел грузно, всем весом, без чудесного чувства крылатости, без счастья победы.

Победа куется до боя — этому учил Панфилов. Это, как и многое другое, я воспринял от него.

Но что я тут сделал до боя? Встретил бегляков и повел наудалую. И все. И победил. Вам известны мои убеждения, мои офицерские верования. «Легкие победы не льстят сердца русского», — говорил Суворов.

Ползли тягостные думы. Ну, перебили полторы-две сотни немцев. А дальше? Ведь мы по-прежнему в кольце, по-прежнему одиноки среди прорвы врагов.

Всю дорогу, пока я ехал к дому лесника, шевелилась мысль: не вернулся ли Брудный, нет ли приказа? Конечно, это непрестанное ожидание приказа об отходе выглядит немужественным, недостойным. Но такова правда. Я от всех ее скрывал, но от совести не скроешь.

10

В большой рубленой комнате штаба горела лампа. С усталым лицом встал Рахимов. Приподнял голову Толстунов, прикорнувший под шинелью на полу. Они смотрели на меня с ожиданием...

Спрашивать ли? Я все-таки спросил, хотя знал ответ заранее. Да. Брудного не было, приказа не было.

Принесли ужинать. Есть не хотелось... Толстунов поднялся. Скоро пришел Бозжанов. У него был для меня подарок: немецкий шестикратный бинокль. Как порадовался бы этому я в другое время... А теперь ко всему был безразличен. Шел четвертый час. Следовало бы поспать до света, но чувствовал: не засну.

Я кликнул Синченко.

— Синченко, водка есть? Рахимов, выпьешь?

Он отказался. Я налил Толстунову, налил себе. Выпью, тогда, может быть, усну...

УТРО

1

Я улегся, сунув под голову стеганую телогрейку, которая попахивала пожарищем. Закурил, взглянул на часы, увидел на скамье свою ушанку. Она была далековато, была не на месте. Надо бы взять ее, привязать к ремешку кобуры, чтобы, в случае чего, вскочив по тревоге, не искать... Но не хотелось думать ни о тревогах, ни о том, что впереди. Однако я все-таки встал. Эти несколько шагов за шапкой, напоминавшей о действительности, я сделал, насилуя себя, перемогаясь. Тянуло забыться, уйти мыслями из этого дома, из леса.

Опять лег, закрыл глаза... Потекли милые сердцу картины прошлого. Сейчас не восстановишь. Мало ли что промелькнуло?

Одно знаю твердо: думалось не только о себе, думалось и о батальоне. Впрочем, это тоже о себе.

В те минуты упадка, в полузабытьи, мои бессвязные видения не были, конечно, подчинены параграфу устава, что предписывает командиру говорить о своей части: «Я». Для меня это был не параграф, а честь, совесть, творчество, страсть. Как еще сказать? В мой батальон было воистину вложено все мое «я». Это мое творение, это единственное, что я создал на земле.

Вспоминалось разное. Наверно, и мелкое, и трогательное, и смешное.

Например? Хорошо, вот вам пример.

2

В солнечный августовский день батальон вышел на стрельбище.

Мы стояли лагерем у быстрой горной речки Талгарка. Невдалеке, у станицы Талгар, зеленели сады, где растут огромные, лучшие в мире, алма-атинские яблоки. Кругом ровная выжженная солнцем степь. Но к югу над степью взбегают предгорья Тянь-Шаня. Где-то в высоте, чуть отделяясь едва уловимым штрихом от блеска небес, блестят вечные снега вершин. Это Южный Казахстан — его красоты мне никогда не описать.

Степь — идеальное стрельбище. Она рядом, она не только под рукой, но буквально под ногой; она гладка, как гладильная доска.

Это легко, это приятно: пройти два-три километра по такой глади, пострелять, вернуться. Но я готовил людей к войне. Легко? Приятно? Значит, долой идеальное стрельбище. Я повел батальон в горы.

Взобрались на первую террасу. Она вся в колючках, в зарослях сухого ползучего кустарника «курай». Нет, тут не постреляешь.

К следующей площадке вел обрывистый каменистый подъем. Батальон, вперед! За мной! Полезли на гору. Круто. Из-под солдатских башмаков с шуршанием покатились вниз камни.

Вскарабкались. Черт возьми, и тут негде стрелять! Стеной почти в рост человека высилась сочная трава. Куда же идти? Выше, по склону, темная зелень дубового леса.

Таковы контрасты гор. Но таков же, скажу кстати, и весь Казахстан. Не рассказывал ли вам кто-нибудь легенду о сотворении Казахстана? В дни творения бог создал небо и землю, моря и океаны, все страны, все материки, а про Казахстан забыл. Вспомнил в последнюю минуту, а материала уже нет. От разных мест быстренько отхватил по кусочку — краешек Америки, кромку Италии, отрезок африканской пустыни, полоску Кавказа, — сложил и прилепил туда, где положено быть Казахстану. Там, на моей родине, вы

найдете все: и вечно голые, будто проклятые небом, пространства безводного солончака и самые благословенные края.

Но где же стрелять? Я выстроил батальон в четыре шеренги и повел эту стену на стену травы. Прошли взад и вперед несколько раз. Тяжелые военные ботинки мяли, ломали, вытаптывали траву. Напоследок промаршировали, выдергивая руками уцелевшие стебли. Я встал в сторону, любуясь, переживая незабываемую минуту счастья. Какая это сила — батальон! С этим батальоном, дисциплинированным, готовым к бою, закаленным, я врежусь в полчища врагов и пройду вот так же, втаптывая в землю, в могилу. Я знал: война не такова, но представлялась все же так.

В траве был проторен обширный длинный четырехугольник. На краю установили мишени. Батальон все еще стоял в строю. Все видели нарисованные углем на фанерных листах головы в касках со знаком свастики над козырьком. Захотелось еще раз ощутить силу батальона. Я приказал первой шеренге лечь, второй вести огонь с колена, затем скомандовал:

— По фашистам пальба залпом!.. Батальон...

Сделал выдержку. Несколько сот винтовок были нацелены в четыре мишени. Залповый огонь батальона не был в то время предписан боевым уставом, но я попробовал:

— Огонь!

Черт побери! С одного залпа мы остались без мишеней. Их будто срезало. Семьсот выстрелов разом — это страшная штука. Столбики, к которым приколочены щиты, были перерублены пулями, фанера расщеплена, разодрана. Я и чертыхался и смеялся; карабкались, подошвами пробивали стрельбище, и опять нельзя стрелять...

Так мы крошили немцев до боев. А тут... Но про «тут» не хотелось думать.

И вновь пробегали милые сердцу картины прошлого. Нет, не все о батальоне. Было и о другом. Мало ли что промелькнуло!

3

И вдруг прозвучал голос Брудного:

— Товарищ комбат...

Я принудил себя не ждать и все-таки ждал его с приказом. В полусне усмехнулся.

И вскочил. Рахимов уже был на ногах. Его шинель валялась на полу. Он, мой аккуратный, бесстрашный начштаб, не поднял ее. Он улыбался. Он смотрел на Брудного и на Курбатова.

Они вошли вдвоем. У обоих блестела на шинелях гладкая корка непросохшей грязи; где-нибудь, должно быть, ползли.

— Товарищ комбат, разрешите...

Это была явь. Это был живехонький Брудный, его быстрый говор, быстрый взгляд, пылающие румянцем щеки.

— Приказ есть?

— Да, товарищ комбат, отходить...

Он подал записку. Когда чего-нибудь страстно хочешь, не сразу веришь, что исполнилось. Помню, пробежала мысль — не сон ли все это? Нет, видения кончились. Я посмотрел на часы. Половина четвертого. Неужели я лежал всего несколько минут?

Командир полка майор Елин в торопливо набросанных строках сообщал, что в лесу за деревней Долгоруковкой нас встретит один из штабных командиров, который укажет дальнейший маршрут к Волоколамску,— туда стягивается полк.

К Волоколамску! Отход на тридцать километров! Но переживать некогда. Половина четвертого, а светает в семь.

4

Во мраке ротными колоннами батальон шагает по расползающейся талой земле. Идут бойцы, идут орудия, двуколки с пулеметами, подводы с боеприпасами, санитарные повозки, затем опять бойцы.

Я по привычке пропускаю строй мимо себя, потом посылаю Лысанку, обгоняю ряды — и опять пропускаю.

Иногда мутным пятном в черном небе пробивается луна. Тогда мутнеет и мрак.

Я снова обгоняю батальон.

Колонну ведет Краев. Его рота головная. Разбрызгивая воду, помахивая длинными руками, слегка подавшись, как всегда, корпусом вперед, он отбивает и

отбивает шаг, задавая темп. В строю по четыре, не отставая, движутся бойцы. Рота проходит.

За нею — повозки санитарного взвода, помещенного среди боевых подразделений. Мы везем сорок раненых. Узнаю грузноватого, с животиком, нашего фельдшера, старика Киреева. Он на ходу хлопочет: идет рядом с повозкой, к кому-то склонившись, что-то поправляет, кажется, чью-то голову; его поглощает мгла.

Вот и приблудная команда, воинство Бозжанова.

Обогнув Долгоруковку, мы приближались к дороге, той самой, что не раз упоминалась в нашей повести, — к мощеной дороге, которая вела на Волоколамск и там, почти под прямым углом, вливалась в Волоколамское шоссе.

Несколько дней назад, шестнадцатого октября, сгруппировав ударный кулак, немцы устремились к этой дороге, рассчитывая одним броском проломить нашу оборону и затем с ходу на танках, грузовиках и мотоциклетах ворваться по Волоколамскому шоссе в Москву. Отброшенные у совхоза Булычево, задержанные в последующие дни на других рубежах, они, зная малые силы противостоящих им на этом участке войск, не хотели верить неудаче. Им казалось: еще усилие, еще бросок, и преграда будет прорвана, откроется дорога на Москву — асфальт Волоколамского шоссе. Наши части, дерущиеся на дороге, отходили. Но назавтра те же полки, те же батальоны вновь вставали на пути врага, вновь вынуждали его вести долгий, затяжной бой. Немцы всякий раз думали: это последнее сопротивление, последний бой — и они упрямо ломились, не желая отказываться от избранного направления. Волоколамское шоссе по-прежнему оставалось осью их главного удара.

5

За Долгоруковкой нас встретил помощник начальника штаба полка лейтенант Курганский. Экспансивный, энергичный, он радостно жал мне руку. Тут же рассказал: во втором и третьем батальонах серьезные потери. Люди дрались группами, горстками, отскакивая и вновь закрепляясь у дорог, убивая немцев, перемалывая живую силу врага. Под прикрытием заслонов, под прикрытием артиллерии, дерущейся с танками, части быстро стягиваются к Волоколамску — к ключевому

пункту, запирающему Волоколамское шоссе. Там новый рубеж дивизии.

С Курганским прибыло несколько повозок продовольствия для батальона. Нам прислали тонну белого хлеба, ночью выпеченного в Волоколамске.

Повозки поджидали нас в лесу. Я решил укрыть тут батальон: дать людям поесть, передохнуть, покормить лошадей.

Сильным артиллерийским битюгам предстояло идти в обратный путь. В покинутом острове были припрятаны шесть орудий и четыреста снарядов — те, что мы добыли ночью. Я решил еще раз вытащить их из-под носа у немцев.

На востоке забрезжило, но вокруг все скрывал туман. Батальон втягивался в лес. Я подъехал к Бозжанову:

— Бозжанов! Останови своих! Прими десять шагов в сторону.

Скомандовав другим подразделениям «Прямо!», я оглядел мой не предусмотренный штатами резерв. На краю, встав у пулеметной двуколки, строй замыкали мои пулеметчики. Дальше в рядах стояли те, кого я ночью гнал от батальона, те, что прошли затем очищение в бою.

Я приказал Бозжанову взять артиллерийских лошадей и попытаться, пользуясь туманом, вывезти сюда снаряды и орудия.

— Бери всю свою команду. Прикрой орудия со всех четырех сторон. Если наткнешься на мелкую группу — постарайся уничтожить. А всерьез в бой не ввязывайся: взорви пушки и уходи сюда. Действуй быстро. Помни, мы здесь тебя ждем.

Вытянувшись, четко взяв под козырек, поблескивая маленькими узкими глазами, Бозжанов ответил:

— Есть, товарищ комбат.

Он казался стройнее, чем обычно; лицо было энергичным; ему нравилось быть командиром, нравилось самостоятельно решать отчаянные задачи.

6

Бойцы развели костры, вскипятили чай, сушились. Многие, нарубив хвои, спали на ней — на зеленой перине солдата. В походных кухнях варился богатый мяс-

ной суп. Батальон отдыхал, выставив круговое охранение.

Светало. Таяло. Туман рассеивался. Занялось пасмурное утро.

Часов в восемь, когда, по моему расчету, Бозжанову уже было время возвратиться, в небе возник быстро приближающийся гул самолетов. Мы увидели их. Низко, под кромкой облаков, чуть в стороне от нас, шли немецкие бомбардировщики. Почти тотчас с земли заговорили невидимые нам пулеметы и пушки. Загрохотали тяжелые разрывы авиабомб. Самолеты шли волнами, эшелон за эшелоном, сбрасывая свой груз в какой-то точке, — километрах в четырех-пяти от нас, где пролегало шоссе на Волоколамск.

Внезапно пальба резко участилась. В небе самолетов уже не было, но там, куда только что ложились бомбы, там гремели теперь пушки — не десять, не двадцать, а, пожалуй, сотня или полтораста орудий. Мои конники, высланные туда, донесли: идет танковая атака немцев, идет бой артиллерии против танков.

Вскоре занялась пальба и в другой стороне, по другой бок от нас, тоже в четырех-пяти километрах. Артиллерийский огонь был там во много раз слабее, но доносилась винтовочная и пулеметная стрельба.

А Бозжанова не было... Черт меня дернул дать тут батальону отдых! Черт меня дернул отослать лошадей и бойцов за орудиями. Взорвать бы орудия на месте — и шабаш!

Куда я теперь тронусь без артиллерийских упряжек? Да и не в упряжках дело... Могу ли я уйти, бросив своих, не дождавшись отряда?

Стрельба с двух сторон, а Бозжанова нет и нет... Проклятье! Неужели опять вчерашнее? Надо скорее уходить, как нам приказано, а вот не двинешься же...

Я сказал Рахимову:

— Передайте мой приказ командирам рот: поднять людей, занять круговую оборону.

У СКРЕЩЕНИЯ ДОРОГ

1

На шоссе, куда глаз не достигал, после некоторого затишья опять бешено бабахали пушки. В сплошном громе ухо редко-редко различало отдельные выстрелы.

А по другую руку бой и не замирал. Но и там все было скрыто перелесками.

И еще откуда-то сзади, за шоссе, тоже как будто стало погромыхивать.

А Бозжанова, черт побери, нет! Я клял его, клял себя, снарядил навстречу конников. Но, злись не злись, не двинешься. Сам себе засадил, законопатил...

Бойцы рыли по опушке круговую оборону. Пока это делалось про всякий случай... Появись Бозжанов, и мы тотчас снимемся, пойдем. Солдат поворчит: «Зря рыли». Дай бог, чтобы это было зря.

Вместе с Рахимовым я обошел роты. После короткого отдыха, после белого хлеба и горячей мясной крошонки люди повеселели. Меня встречали шутками. Близкий орудийный гром и стрельба с разных сторон не производили особенного впечатления. Нам это уже было не впервой: хождение по страхам отодвинулось во вчера, в историю батальона. Полегчало и мне. Подумалось: «Не пропадем!»

2

В штабную палатку я вызвал командиров рот. Объяснив, что отряд Бозжанова, отправившись за пушками, задержался свыше предусмотренного срока, я объявил свое решение: батальон не уйдет, пока не вернутся наши. Если понадобится, будем их выручать.

По взглядам я видел: все поняли, приняли сердцем этот приказ.

Поговорив с командирами, я их отпустил. Вместе мы вышли из палатки.

Между деревьями показался конник. Он издали радостно кричал:

— Идут!

Все задержались. Конник привез долгожданную весть: наши подходят — отряд Бозжанова приближается к лесу, вытягивая орудия.

Теперь, наконец, я мог отдать приказание продолжить марш на Волоколамск.

— Все по местам! — сказал я. — Приготовиться к движению. Филимонов, останься.

Филимонов, тридцатипятилетний, сухощавый, энергичный лейтенант, был командиром третьей роты.

Он получил от меня задачу: поднять свою роту и

тотчас выступить головной походной заставой. Таково в боевой обстановке построение батальона на марше: головная застава опережает основную колонну на три-четыре километра.

Вместе с Филимоновым мы рассмотрели карту. Прямым и самым удобным путем было шоссе. Наступившая оттепель наверняка превратила в месиво все окрестные дороги за исключением этой единственной твердой полосы. Но туда, на мостовую, из нескольких пунктов двумя или тремя группами рвались немцы. Я наметил маршрут потяжелей, но понадежней. Следовало пересечь шоссе и затем, повернув на север, выйти проселочными дорогами к Волоколамску.

Филимонову следовало немедленно двигаться этим путем, опережая на должную дистанцию ядро батальона.

Филимонов бегом отправился в роту.

Синченко подвел Лысанку. Вскочив на седло, я поехал к отряду Бозжанова.

Крупные артиллерийские кони с усилием тащили орудия без дороги, по низу некрутой лощины. Туман уже слизнул тонкий покров снега. Колеса резали дерн. Упираясь ногами в мокрую скользкую траву, бойцы помогали коням.

На меня поглядывали хмуро. Кто-то мрачно ругнулся. Кто-то сказал:

— Эх, товарищ комбат... Прет по всем дорогам...

Другой проворчал в землю:

— А ему что? Хлестнул кобылу, и будь спок...

Я узнал Пашко.

— Пашко! Что ты сказал?

— Ничего...

Следовало бы призвать его к порядку, дать почувствовать, что такое рука командира, но я промолчал. Я не понимал, что с людьми. Ведь они благополучно вернулись из опасного, трудного дела, они с честью выполнили боевую задачу. Почему же вместо гордости, вместо радости — эта подавленность?

Подошел Бозжанов. Он — обычно оживленный, улыбающийся — теперь тоже был насупленно-серьезным.

Бозжанов стал докладывать по форме, но я перебил:

— Что там у тебя стряслось? Почему все раскисли?

Понизив голос, Бозжанов неохотно произнес:

— Узнали...

— Что узнали?

— Тут везде наши отошли. А мы опять...

— Что опять? Что за чепуха?

Посмотрев долгим взглядом прямо мне в глаза, Бозжанов грустно сказал:

— Аксакал, зачем вы со мной так? Ведь вы же знаете, я...

Но я вновь прервал:

— Твое «я» — вот! — Я указал на угрюмых бойцов, тащивших пушки. — Думай о них: ты отвечаешь за людей. Ну, что «мы опять»?

— Опять одни...

— Ты откуда это взял?

— При нас снимали все посты... Все уходили... Уже давно, аксакал.

Вот, значит, что! Вспомнились слова Севрюкова: «беспроволочный солдатский телефон». Как радовал этот «телефон» тогда, в час боевой удачи! А теперь, при отходе, не то...

Медленно продвигались орудия и зарядные ящики. В раздумье я смотрел на людей. Опять увидел Пашко. По-прежнему уставившись в землю, он вместе с другими толкал пушки; мускулистым корпусом он навалился на станину, упираясь каблуками в податливую талую почву. Грязь залепила сапоги, но все же были заметны высокие щегольские голенища желтого хрома. Я невольно спросил Бозжанова:

— Что у него за сапоги?

Бозжанов ответил:

— Снял в Новлянском с немца. Убил офицера и снял...

Да, интересный парень этот Пашко. Смелый, отчаянный, но... Но нет еще в нем, не чувствуется в нем, как я подметил и ночью, первой доблести воина — повиновения, дисциплинированности, что внедряется жестокой армейской выучкой, становится второй натурой солдата.

Напрасно я только что не приструнил его. Это подтянуло бы всех... Надо бы, надо бы, чтобы все они услышали сейчас слово командира.

Но уже не до этого. Я обязан немедленно проверить сообщение Бозжанова, выяснить обстановку, ориентироваться, принять решение.

Так я совершил ошибку, ни при каких обстоятельствах не позволительную для командира: я пропустил мимо ушей дерзость солдата, изменил правилу: «Никогда не спускай», не укрепил повелительным словом душу солдата.

И, как страшное последствие, через несколько минут пролилась кровь, которая могла бы не пролиться.

3

Выстрелы пушек, что недавно сливались в сплошной гром, раздавались теперь реже, но доходили отчетливее. Не то они придвинулись, не то тут, вне леса, деревья не скрадывали звука. По другой бок пулеметная и винтовочная стукотня отдалилась, ушла в сторону.

А перед нами по-прежнему все было пустынно: кусок дороги, поблескивающий лужами и грязью, мокрые скаты лога, резко очерченный в сером небе неровный гребень, заслоняющий даль, позади лес.

Неприятное состояние — ничего толком не знаешь, ничего не видишь, очутившись без задачи среди очагов боя. Батальон охранялся конными дозорами, но после сообщения Бозжанова я решил взглянуть с какого-нибудь ближайшего холма по сторонам, посмотреть, что творится кругом.

Я сказал Бозжанову:

— Втаскивай орудия в лес. Я доскачу до высотки, осмотрюсь...

Синченко двинулся было за мной, но я оставил его у опушки.

Через минуту Лысанка галопом вынесла меня на косогор. Оттуда открылось село, раскинувшееся вдоль шоссе. Я заметил движение по улице, движение по шоссе и мгновенные белые вспышки орудийных выстрелов. Навел бинокль.

Наша артиллерия отходила. Тракторы, зацепив орудия, выползали из села, двигались по полю, отворачивая от шоссе в сторону. Беспокойно оглядываясь, шли рядом с пушками артиллеристы. Я распознал долговязую фигуру полковника Малинина — командира артиллерийского полка. Увидел в бинокль: он остановился, достал и раскрыл портсигар, взял папиросу, зажег спичку, закурил — проделал все это неторопливо, с

подчеркнутым спокойствием; потом задержал проползающее мимо орудие, куда-то показал. Трактор отвалил, артиллеристы стали по местам. Поведя бинокль в направлении, куда показал Малинин, я впервые увидел немецкие танки... Белые кресты на иссиня-черной броне, пламя из тонких стволов... Стреляя с ходу, танки входили в село.

Хотелось, не отрываясь, следить за этой битвой, за разворачивающейся передо мной лентой современной войны, но я опустил бинокль, обвел взглядом вокруг. По дороге, вливавшейся в шоссе, мчались мои конники. Пронеслась догадка: они где-то, наверное, соприкоснулись с подступающими сюда немцами; наши части, отходящие к северу, уже, должно быть, оставили этот проселок.

Каким же способом, каким маршрутом мы теперь выберемся? Надо бы сейчас же перебросить батальон по ту сторону проселочной дороги, пока свободно ее устье, чтобы нас не отрезали, не заперли в угольнике дорог. Я продолжал взволнованно оглядывать местность. И вдруг увидел роту Филимонова, уже выступившую по моему приказанию.

Походной колонной по лощине, не видя, что творится в селе, не видя танков, рота двигалась к селу, прямо в лапы немцам. Что он, с ума спятил? Идет, черт побери, как слепой! Я бешено ударил шпорами Лысанку; она взвилась от боли.

Карьером мимо опушки, мимо батальона я поскакал вдогонку роте.

4

Нагнал.

— Рота, стой! Филимонов, куда ты лезешь? Куда тебя несет?

Он оторопело сказал:

— Слушаю, товарищ комбат.

— Куда ты идешь?

— Я думал, товарищ комбат, этой лощиной выйти к селу. А потом по дорогам, по маршруту.

— Почему не выслал дозора? В селе немцы!

Его красноватое лицо стало растерянным. Он, Ефим Ефимович Филимонов, впоследствии стал одним из героев батальона, но тут свою роту без противотанкового

вооружения чуть не вывел на танки: вел бойцов, по овражку, ничего не видя вокруг.

Я успел его остановить, рота не потеряла ни одного бойца, но было потеряно время.

К нам по лощине кто-то мчался верхом во весь опор, карьером. Я узнал кобылу Синченко. Он подскакал.

— Товарищ комбат, побежали...

— Кто?

Не отвечая, быстро дыша, волнуясь, он продолжал:

— Они видели вас... закричали: «Комбат бежал!» И кинулись...

— Кто?

— Эти... вчерашние... которых вы приняли...

— А батальон?

— Не знаю... На дороге уже немцы. Как закричали: «Комбат бежал!», как кинулись кто куда, то я враз за вами...

Я проговорил:

— Филимонов! Роту обратно! Бегом! Синченко, за мной!

И второй раз в этот день резанул шпорами Лысанку.

5

Я помчался к лесу. Издали он казался пустым. Неужели действительно пуст? Неужели паника? Неужели он, мой булат, мой батальон, рассыпался в один миг? Тогда незачем жить! Но не верю, не верю.

На скаку я заметил несколько человек у опушки. Они будто поджидали меня. Подлетел туда. Увидел сумрачного Краева, увидел линию недорытых ячеек, бугорки свежевынутой земли. Бойцов не было.

— Краев! Что с батальоном? Где бойцы?

Откозырнув, он ответил:

— Была команда, товарищ комбат, подготовиться к движению.

— Ну... Где рота?

— Выстроена в глубине... В роте, товарищ комбат, порядок не нарушен.

— А что тут стряслось? Где?

Краев показал туда, где несколько минут назад я встречал орудия. Хмуро буркнул:

— Там...

Эх, из него слова не вытянешь! Лысанка опять помчала меня вскачь.

С какой-то точки на секунду приоткрылся поселок. Идут машины, машины, идут на гусеничном ходу пушки. Немцы!

Теперь под гору, в лог. Два орудия еще не втащены в лес. У орудий сбились толпой те, кого вчера, после ночного побоища в Новлянском, я взял в батальон. Они не выволакивали орудия, не работали, они беспорядочно жались к завязшим колесам, к стоявшим лошадям. Я видел побледневшего Бозжанова; губы были напряженно стиснуты, в руке он сжимал пистолет.

— Бозжанов! — прокричал я. — Бежали эти? Эти орали, что комбат бежал?

Он молча кивнул. Губы остались сжатыми, знакомое полноватое лицо было неузнаваемо жестким, щеки втянулись, все очертания стали резче.

Я крикнул:

— Вот ваш комбат! Все видите? Бозжанов, кто орал? Все?

— Вон кто...

Движением головы Бозжанов показал в сторону. В отдалении, на склоне, лежали ничком два трупа. Кровь натекла вниз в глубокие следы копыт. Скорее по догадке, чем по каким-либо внешним признакам, я узнал одного — того, кто мог бы стать прославленным героем. Мог бы... и погиб, как изменник, как трус. Да, это был Пашко. На неестественно подогнутых ногах, будто застывших в движении, высокие, желтой кожи, сапоги, заляпанные грязью.

Бозжанов уже нашел в себе силу обратиться ко мне по форме:

— Разрешите доложить... Вследствие возникшей паники я, товарищ комбат, вынужден был применить оружие.

— А эти? Эти тоже бежали? Почему не перестрелял всех, кто побежал?

Бозжанов молчал.

— Я приказываю: если еще раз побегут, бей по трусам без предупреждения.

— Слушаю, товарищ комбат.

Нет, я не кровожаден. Бессмысленная жестокость отвратительна. Но момент был такой, когда требова-

лось, чтобы люди запомнили урок, чтобы навсегда затвердили закон войны, закон армии.

Я посмотрел на толпу:

— Ну, все видите комбата? Все слышите? Бозжанов, приведи людей в достодолжный вид! Втащи пушки! Потом явишься в штаб, ко мне, получишь участок обороны.

Я шевельнул повод. Отдышавшаяся добрая лошадка пошла к штабной палатке в лес.

6

Мы оказались в угольнике немецких колонн. Батальон вновь отрезан.

Если будущий критик нашей повести сочтет нужным кого-либо в этом обвинить, я могу облегчить ему задачу: виноват я! Без риска нет войны! Я рискнул, я послал людей в тыл за оставленными снарядами и пушками. Пушки вывезены, но батальон застрял, батальон отрезан. Теперь дотемна не выйдешь.

Не натворил ли я ошибок? Возможно. Не следовало ли действовать более умно, более предусмотрительно? Возможно.

Пусть, если я этого заслуживаю, умные люди проберут меня без снисхождения за ошибку, но я не стану выдавать себя за непогрешимого, золотого или, вернее, сахарного командира.

Мы оказались в угольнике немецких колонн. По мощеной дороге прошли танки. За ними в два ряда на Волоколамск, на Москву покатили грузовики, мотоциклеты, тягачи — пехота, боепитание, артиллерия, немецкая группировка главного удара. А по проселку туда же, на шоссе, вливались транспорты вспомогательной группы, прорвавшейся вчера около нас.

У скрещения дорог нарастала пробка. Немецкая дорожная служба уже регулировала движение, придерживая то одну, то другую колонну.

Я смотрел в бинокль. Лица немецких солдат, сидевших на грузовиках, были, как и вчера, под Новлянским, почти сплошь молодыми. Особенного веселья, смеха, возбуждения не заметно; сидят в пилотках, в легких шинелишках; многие зябко сунули руки в рукава: донимала октябрьская стылая сырость. Для них, завоевате-

лей, это были будни; для них стало привычным: вперед, вперед!

Ко мне подошел командир артиллерийской батареи.

— Орудия наведены? — спросил я.

— Да, товарищ комбат.

— Зарядить и доложить!

В мысок леса, что выдался к скрещению дорог, мы выдвинули восемь пушек. Часть артиллеристов была отправлена к шести шиловским, установленным в другом пункте. От мыска до скрещения было около километра; цель на виду; немецкие машины ясно видны в прицельной панораме; это называется прямой наводкой.

— Готово! — доложил командир батареи.

— Давай! Бей залпами! Залпами!

Раздалась команда:

— Батарея...

Пауза.

— Огонь!

Полыхнуло. Бахнуло. Дрогнула земля. Я видел в бинокль: полетели щепки, куски жести.

— Огонь!

Соскакивая с машин, немцы кинулись в канавы, кинулись за обочину; куда-то запряталась немецкая регулировочная служба.

— Огонь!

Нет, господа «победители», тут вы не пройдете! Вы отрезали нас? Нет. Мы огнем перерезали дорогу, мы рассекли ваши колонны. Вы спешили на Москву, на Москву? Приостановитесь-ка! Сначала извольте-ка справиться с нами, раздавите-ка батальон Красной Армии!

ВИНТОВОЧКА, ВИНТОВОЧКА, НЕ ВЫРУЧИШЬ ЛИ ТЫ НАС?

1

На шоссе все остановилось. Задние машины в тесноте поворачивали кругом и, объезжая встречные, задерживаясь в пробках, возвращались в село.

Я оставил в мыске две пушки, приказав разбивать машины, а потом, когда противник начнет отвечать, переменить позицию.

Другие пушки мы покатили через лес, топорами и пилами быстро расчищая путь, к тому краю, откуда поближе до села.

Корректировщики с биноклями, с телефонными трубками взобрались на сосны. С этих наблюдательных пунктов донесли: село забито машинами; их пропускают в сторону по проселочной дороге, но там грузовики буксуют в грязи.

Я сказал командиру батареи:

— Поддай им огоньку! Брось в это скопище шестьдесят снарядов. Потом жди приказаний. Повторим, если зашевелятся.

И направился в штаб. Роты заняли в лесу круговую оборону. Бойцы врылись в землю. Лесной клин, где мы закрепились, был обширнее, чем наш вчерашний остров, но, не довольствуясь этим, я специально разредил оборону, чтобы уменьшить потери от немецкого огня, который, я не сомневался, непременно воспоследует. Один пулеметный взвод и три стрелковых были отодвинуты в глубину и размещены в разных точках как резервные. Бойцам резерва было приказано отрыть себе щели. В земляные укрытия, в коленчатые узкие траншеи ушел с поверхности и медпункт со всеми ранеными. Хозяйственный взвод копал стойла для лошадей.

Командный пункт батальона тоже уже был не в палатке, а в земле, под многослойным настилом бревен. Там опять горела лампа, стоял знакомый стол, в углу устроились телефонисты; мне навстречу поднялся, как всегда, Рахимов.

С командного пункта я позвонил туда, где расположились на огневых позициях шиловские пушки. Они держали под прицелом проселок. И этот путь был закупорен подбитыми на скрещении машинами.

Я приказал выпустить полсотни снарядов по ближайшей деревне на проселке, где тоже скопились машины. Я чувствовал: противник пригвожден: ни тпру ни ну. Теперь он покажет зубастую пасть. Что же, посмотрим, как он нас проглотит... Не встанет ли ему поперек глотки такой ежик?

Не знаю, знакомо ли вам ощущение полной собранности, когда мобилизована, кажется, каждая клеточка, когда в голове необыкновенная ясность, в теле чудесная легкость? С разных сторон гремели мои пушки. Нападали мы. Игру вели мы. Вчерашней подавленности, вчерашних страхов будто не бывало.

2

Один из тактических принципов «молниеносной» войны, примененный немцами еще в Польше, в Голландии, в Бельгии и во Франции, был, как известно, таков: прорвав в разных пунктах линии фронта, мчаться вперед, вперед, оставляя позади разрозненные, рассеченные, деморализованные части противника. Под Москвой это гитлеровцам не удалось.

Буду, однако, рассказывать лишь о своем батальоне.

Оказавшись среди марша, на привале, отрезанными (повторим в скобках — по моей вине) у шоссе, у единственной в этом районе твердой дороги, по которой немцы могли мчаться, мы, в свою очередь, перерезали ее огнем. На военном языке это называется контролировать дорогу огнем.

Тем самым мы заставили немцев вместо «вперед, вперед!» заняться ликвидацией очага сопротивления. Заставили... На военном языке это называется навязать свою волю противнику.

Немцы стали кромсать лес снарядами и минами. Мы отвечали, маневрируя артиллерией. Стянешь куда-нибудь все четырнадцать орудий, ахнешь несколькими залпами по тылам, потом быстро рассредоточишь артиллерию по две, по четыре пушки, обстреляешь беглым огнем другие пункты. Шесть деревень открывались глазу с верхушек сосен. Все шесть заняты врагом. От нас попеременно доставалось врагу во всех этих пунктах, благо по части снарядов и пушек мы были богачами.

Налетели девять бомбардировщиков. Завывая, стали пикировать. Лес сотрясался от тяжелых разрывов. И что же? Матушка земля оборонила. Пострадали, главным образом, лошади, для которых мы не успели приготовить стойла-котлованы. Четырнадцать погибших лошадей, две разбитые пушки и шесть человек раненых — таков был итог авианалета.

К полудню вдали, километров за пятнадцать к северу, то есть в направлении на Волоколамск, опять, как и утром, часто-часто застучали пушки. Временами далекие выстрелы сливались в сплошной рокот: там вели огонь, судя по звуку, не десять и не двадцать, а, как утром, сто или полтораста пушек. Как мы узнали впо-

следствии, прорвавшиеся танки были встречены там другим артиллерийским полком. А здесь мы не пропускали по дороге подкреплений, не пропускали артиллерию, мотопехоту и боепитание.

Три раза цепи пехоты шли в атаку на нас. Всякий раз мы подпускали их близко, а затем залпами винтовок и кинжальным огнем пулеметов срезали немецкие цепи, прижимали уцелевших к земле, заставляли отползать. Одна атака пришлась там, где как раз оказалось несколько наших пушек, маневрирующих колесами по лесу. Подвернулся случай — случай, которого втайне ждет всякий истинный артиллерист, —встретить пехоту противника картечью. Знаете ли вы, что такое выстрел на картечь? Выброшенный из ствола снаряд, тотчас, в воздухе, в полете рвется, выбрасывая сотни пуль, сотни горячих режущих брызг, которые со страшной силой бьют в лицо наступающей пехоте.

В этот день мы трижды подтвердили врагу элементарную военную истину: пустая затея — лезть грудью на кинжальный огонь, пустая затея — атаковать позицию, если не подавлены огневые точки, если не подавлен дух.

А подавить нас, — о, сколько артиллерийской долбежки, сколько времени потребовало бы это у немцев! Время, время — вот что мы отнимали у врага. И отнимали людей, живую ударную силу.

Незаметно свечерело. Пора было подумывать об уходе. Но, представьте, уходить не хотелось. Наши боеприпасы истощились, а то я охотно повоевал бы на этом месте еще сутки; подержал бы еще сутки противника за хвост, поиграл бы с ним...

Страху уже не было. Отошли, остались на вчерашнем острове мои тягостные настроения.

Так был изжит страх окружения. Так был пройден первый курс высшего воинского образования.

3

Стемнело. Разведка донесла: во всех окрестных деревнях немецкие войска, каждая деревня прикрыта сильным охранением. Все дороги у батальона отняты.

Но шоссейная, пока мы здесь, не принадлежит и немцам. Я обдумывал способы ухода из кольца. Можно уйти лесами. Вот взгляните-ка, карта. Видите —

длинной полосой лес тянется на север, подступая почти вплоть к Волоколамску. Пехота легко пройдет лесом. А колеса? Пушки, обозы? Бросать?

Размышляя, я вместе с тем продолжал войну. Немцы попытались, пользуясь темнотой, возобновить движение по шоссе. Мы не дали. Они направляли машины в объезд. Мы мешали, мы били по развилкам дорог. Я по-прежнему ощущал, что прищемил врагу хвост. Отпускать не хотелось.

В девять или десять часов вечера прибыл посланец от Панфилова — лейтенант Анисьин. Он подал записку генерала: немедленно выбираться из кольца, выводить батальон к Волоколамску.

Анисьин пробрался к нам лесом. Разрыв между батальоном и нашими войсками достигал двадцати пяти километров. Как пройти эту полосу?

Я принял решение: проскользнуть в темноте в лесной массив и там двигаться по компасу, напрямик к Волоколамску, прорезая в лесу путь для артиллерии и обозов. Дал прощальный концерт, прощальные орудийные залпы по всем немецким тылам, куда доставали наши пушки. Ну, на этом до свидания, господа! Еще встретимся.

Батальон стал свертываться.

4

Во мраке мы идем и идем лесом. Лес заповедный, вековой. Работают пилы, топоры, мы валим, оттаскиваем деревья, вырубаем просеку, вырубаем память о себе.

В батальоне семьдесят пил, полтораста топоров—все в деле. Мы идем и идем. В темноте смутно белеют свежие срезы пней. Просекой тянутся двуколки, санитарные повозки, пушки. Мы везем двенадцать орудий. Два подбиты в бою и напоследок нами взорваны. Потеряно около двадцати лошадей, но и тяжестей меньше: свыше тысячи снарядов выпущено по врагу, сохранен лишь неприкосновенный запас. Немного осталось и ящиков с патронами. Израсходованные — это наши залпы, это огонь пулеметов, это отбитые нами три атаки. Нет на повозках и хлеба, нет консервов, круп, овощей, лишь кое-что прибережено для раненых. Да, пора, пора было уходить. Завтра пришлось бы туго.

Идем, режем, рубим. Двигаемся медленно, в иных местах, в буреломе, в чашобе, меньше километра в час. Но пробиваем, пробиваем просеку по компасу. Оставляем на десятилетия памятку-зарубку о себе.

Идем без привалов, без роздыха, лишь каждый час сменяются рабочие команды.

В лесу, в движении, нас застает рассвет. Высоченные стволы валятся с присвистом, с уханьем, подламывая, подминая молоденькие деревца и сухостой. Вдруг остановка. Затихают пилы. Обрывается стук топоров. Какая-то припоздавшая верхушка описала свистящую дугу, и рубка — стоп!

Головной дозор донес: батальон подошел к прогалине, что пролегает поперек. Там проселочная дорога, ведущая к шоссе. На дороге противник.

5

Я стою на опушке, смотрю.

Ползут грузовики, вязнут в грязи, буксуют. Те, что под пехоту, со скамейками, двигаются порожняком, но в кузовах, у кабин, как дрова, как поленницы, уложены трубы минометов. Пехота идет пешком, проталкивает, вытаскивает машины. Некоторые тяжело гружены боеприпасами, к другим зачалены легкие пушки. Где-то в машинах, за бортами, лежат пулеметы, гранаты.

Я стою пять минут, десять минут, смотрю, думаю. Машины ползут и ползут, выбрасывая из-под колес косые фонтаны грязи. Их продвигает, с ними продвигается пехота. Конники, которых я послал по опушке, вернулись, донесли: хвоста не видно. Сюда устремился поток, которому вчера в другом пункте мы преградили путь.

Ширина прогалины равнялась приблизительно километру. Надо пройти этот километр, пройти и исчезнуть в противоположной стене леса.

Как быть? Развернуть орудия? С двуколок снять пулеметы? Вступить в бой? Но снарядов почти нет, патронов немного.

Ждать ночи?

Нельзя! Противник, вероятно, уже установил или скоро установит, что мы покинули наше вчерашнее гнездо. По нашему следу, по коридору, который мы

просекли, нас в любой момент могут здесь обнаружить, а нам почти нечем огрызаться, мы не сможем долго отвечать огнем на огонь.

Пожалуй, можно все же попытаться уйти в глубину леса, припрятаться дотемна там. Немцы не любят проникать в леса, предпочитают не ввязываться в лесные бои.

Но у меня приказ: вести батальон к Волоколамску. Нас туда требует Панфилов. Мы нужны там, чтобы встретить огнем эти полчища, нужны как можно скорее, чтобы подпереть нашу преграду, гнущуюся под напором врага.

Надо прорываться! Прорываться немедленно, пока немцы беспечны, пока не разузнали, что мы здесь.

Как? Внезапной штыковой атакой! Застигнутые врасплох, немцы, несомненно, в первый момент не окажут серьезного сопротивления. Они растеряются, когда вдруг в тиши загремит устрашающее русское «ура». Пробив широкие ворота, мы заляжем с обеих сторон, и будем держать проход открытым до тех пор, пока не пройдут наши повозки, артиллерия, раненые. Мы их прикроем огнем, — патронов для этого хватит. Потом снимутся и отойдут роты. Их отход тоже надо прикрыть. Чем? Парой пулеметов. Самое трудное, нечеловечески трудное выпадет на долю этим людям — пулеметчикам, которые останутся последними, лицом к лицу с оправившимся, наседающим врагом. Этих людей уже никто не прикроет, им не уйти. Для такого дела, для такого подвига нужны самые стойкие, самые преданные: те, что будут стрелять до последнего дыхания, те, что исполнят до конца святой долг солдата, исполнят приказ: не отходить! Тяжело... Тяжело вымолвить даже самому себе: «Последним останется пулеметный расчет Блохи». Останется навсегда в этой лесной прогалине. И Бозжанов. Да, с пулеметчиками будет Бозжанов. Теперь я уверен, что у пулеметов никто не дрогнет, что мы отойдем в порядке, что сможем подобрать и унести с собою всех, кто будет ранен или убит в бою. Всех, кроме... кроме последней героической горстки.

6

Батальон втихомолку подтягивается к опушке. Я приказал:

— Передать по колонне: «Командиры рот — ко мне!», «Политрук Бозжанов — ко мне!»

Как скажу я Бозжанову? Как выговорю: «Джалмухамед, я жертвую тобой?»

Ожидая командиров, я по-прежнему вглядывался в медленно двигающийся нескончаемый поток машин. Там незаметно пока никаких признаков тревоги. Там пока никто не подозревает, что в двухстах-трехстах шагах находится скрытый лесом батальон Красной Армии.

А что, если действовать иначе? А что, если?... Нет, это страшный риск. Это не содержится ни в одном уставе, ни в одном наставлении.

Я оглянулся на бойцов, притихших меж деревьев, не отрывающих взгляда от немцев. У каждого из моих солдат — винтовка; у каждого в подсумках боекомплект патронов — по сто двадцать на бойца. А что, если все-таки?.. Эх, винтовочка, винтовочка, не выручишь ли ты нас?! Черт возьми, если решиться на рискованный шаг, который завладел мыслью, то при неудаче мы погибнем, может быть, все. Но зато, если выйдет, все будем целы; никого не придется бросать, как жертву, в пасть смерти. Что ж, риск — благородное дело. Нет, без расчета риск не благороден. Но ведь тут есть и расчет.

Я опять посмотрел на бойцов. Можно спросить любого: «Как думаешь, оставить ли на погибель нескольких товарищей, чтобы спасти остальных, или рискнуть: либо все пропадем, либо все до единого выйдем?» И любой скажет: «Рискни!»

— Ну, друзья, хорошо! Никого не оставим!

На сердце сразу полегчало. И во всем теле, в мозгу я ощутил удивительную легкость. Заиграла кровь, заиграла дерзость.

Один за другим подошли командиры. Я нежно взглянул на Бозжанова. Он поймал этот взгляд, удивленно всмотрелся, не совсем уверенно улыбнулся в ответ.

7

Я разъяснил командирам идею прорыва. Она была такова. Батальон строится в одну шеренгу, ромбом. Внутри ромба размещаются повозки и пушки. По моей команде батальон двинется уверенным шагом, сохраняя строй ромба. Винтовки держать наперевес, на изготов-

ку. По моей команде, стрелять залпами с ходу. Стрелять не в воздух, и не в землю, а наводя ствол на врага.

В лесу не легко было построиться. Впереди, в остром углу, я поставил Рахимова, в боковых углах — Краева и Толстунова, сзади, замыкающим, — Бозжанова.

Отряд Бозжанова, мой не предусмотренный штатами резерв, прикрывал тыл. Я сказал им, нашим приемышам, шиловцам-бозжановцам:

— Ставлю вас, товарищи, на самое ответственное место. Верю вам! Пройдем молодцами — все грехи забудутся.

Им были дополнительно розданы гранаты, в том числе и крупные, противотанковые, для того, чтобы напоследок, когда строй прорвется, учинить несколько сильных взрывов в колонне немецких машин.

От заднего угла мимо повозок, мимо пушек я прошел вперед. Встал рядом с Рахимовым. Оглянулся. Негромко скомандовал:

— Батальон... арш!

И зашагал. И повел ощетинившийся ромб.

Немцы не сразу поняли, кто мы, что мы, что за странный безмолвный строй выдвигается из леса. Многие продолжали толкать машины; другие, повернувшись к нам, удивленно смотрели. Это действительно было им непонятно. Красноармейцы не бегут в штыки, не кричат «ура», это не атака. Идут сдаваться? Не похоже... С ума сошли?

Метров восемьдесят-сто они дали нам пройти, не поднимая тревоги. Потом прозвучал повелительный крик на немецком языке. Я уловил: некоторые кинулись в машины, к оружию, к пулеметам. Именно уловил. Теперь время будто рассекалось на мельчайшие отрезки.

— Батальон...

Миг тишины. Винтовки не вскинулись. Было приказано, как вам известно, стрелять с ходу, с руки, прижимая приклад к подсумку.

— Огонь!

Тишину разорвал залп.

— Огонь!

С обрывистым гремящим звуком, наводящим жуть, мы опять выпустили веером несколько сот пуль.

— Огонь!

Мы шли и стреляли. Это страшная штука — залповый огонь батальона, единый выстрел семисот винтовок, повторяющийся через жутко правильные промежутки. Мы прижали врагов к земле, не дали возможности поднять головы, пошевелиться.

Мы шли и стреляли, разя все на пути. Ни один боец не нарушил строй, ни один не дрогнул. Я вел батальон в просвет между машинами. На дороге, в грязи, — убитые немцы. По-прежнему подавая команду, не сворачивая, я наступил на одного. Под сапогом труп податливо ушел в грязь.

По трупам, сквозь немецкую колонну, прошли люди, лошади, колеса.

Раздалось несколько взрывов: это действовали наши гранаты. А мы шагали, продолжая пальбу залпами.

Батальон миновал дорогу. В один из промежутков тишины я крикнул:

— Батальон! Слушать команду лейтенанта Рахимова!

Теперь Рахимов выкрикивал «огонь!» Бойцы стреляли оборачиваясь. Мы по-прежнему не давали врагам поднять голову, пошевелиться.

Внутри ромба, мимо повозок, мимо пушек, я прошел назад и занял место в остром замыкающем углу рядом с Бозжановым. До стены леса оставалось двести — двести пятьдесят шагов. Мы все еще ни одному немцу не позволяли применить оружие.

Вдруг в отдалении сзади появилось несколько танков. С нарастающим жутким скрежетом они шли на нас, открыв с ходу пальбу из пулеметов. Напрягая голос, я скомандовал:

— Батальон! Бегом! Лошади галопом! В лес!

Все понеслись. И только горстка — задний угольник шиловцы-бозжановцы — продолжала шагать, посматривая на Бозжанова и на меня. Несмотря на напряженность минуты, я рассмеялся. Черт возьми, ну и отучены же они бегать! Прикрикнул на них:

— Вам что, особая команда? За мной! Бегом!

Припустились и мы. А сзади лязг и гул, сзади клекот пулеметов.

Люди, повозки, орудия скрывались в лесу. Не добежав до леса двадцати-тридцати шагов, я упал. Намеренно. Следовало оглядеться: нет ли раненых, не оставлен ли

кто-нибудь в поле без защиты, без помощи; если брошен хоть один, надо как-то задержать врага, вынести. Но брошенных не было. Два бойца бегом, низко пригибаясь, несли кого-то на руках.

Я посмотрел по сторонам. Рядом со мной упал Бозжанов и еще человек пять. Среди них Ползунов. Он укрылся за пнем; был бледноват, шея настороженно вытянута; понимающие ясные глаза быстро оглядывали местность; в руке наготове противотанковая тяжелая граната. Лицо с юношески пухлыми губами, которое запало в память в то утро, когда с Ползуновым разговаривал Панфилов, сейчас выглядело совсем иным: в нем поражали сосредоточенность, решимость. Я крикнул:

— Ползунов! Ежели встречусь с генералом — он услышит о тебе!

Ползунов не улыбнулся. Я скомандовал:

— А ну, ходу! За мной!

Вскочив, мы опять помчались к лесу. Из какого-то танка на нас направили струю трассирующих пуль. Одна неприятно прошипела около ноги.

Но в лесу уже развернулись наши пушки. Бах! Бах! Вот и пришло время коснуться неприкосновенного запаса. Я на бегу обернулся. Один танк с разбитой гусеницей вертелся на месте огромным громыхающим волчком. Другие застопорили. Не очень-то попрешь на пушки, неуязвимые за вековыми соснами для гусениц. Мы влетели в лес. Танки, урча, продолжая пальбу, дали задний ход.

8

Несколько раз в этой повести фигурирует залповый огонь.

Я намеренно это подчеркиваю. Я хочу, чтобы некоторые мысли нашей невыдуманной повести были выделены как бы курсивом, жирным шрифтом.

Конечно, такой способ груб. Было бы приятнее предоставить это критике, которая раскрыла бы намеки, сопоставила бы одно с другим, растолковала бы, что к чему.

Но у нас тут речь идет не о любви, которую пережил каждый, которая понятна каждому, а о технике боя, о вопросах военного искусства, военной специальности. Поэтому растолкуем все сами.

Опыт войны научил нас, командиров, что в современном бою, и в обороне и в наступлении, решающее средство воздействия на противника, на психику противника — огонь! При этом вернее всего действует внезапный огонь: ошеломляющий, мгновенно парализующий высшие мозговые центры.

Я называю себя учеником Панфилова, я стремлюсь быть достойным этой чести. А Панфилов, как вы знаете, настойчиво внушал: «Берегите солдата! Берегите не словами, а действием, огнем!»

Да, пехоту надо беречь огнем и маневром, расчищая и прокладывая ей путь огнем, огнем и огнем!

Я имею в виду не только артиллерию. «На артиллерию надейся, а сам не плошай! Артиллерия вместо тебя стрелять из винтовки не будет, артиллерия вместо тебя управлять твоей ротой, твоим батальоном не будет». Это тоже слова Панфилова, сказанные однажды на разборе учений.

Да, у пехоты достаточно средств, чтобы обеспечить свой маневр мощью собственного огня. У пехоты есть оружие жуткой силы, которое при умелом применении, особенно в маневренной войне, почти наверняка парализует психику врага, — винтовочный залп. Повторяю: особенная сила залпового огня в его внезапности. А основа такой внезапности, помимо выбора момента открытия огня, опять и опять — дисциплина.

Вот эти-то мысли хочется выделить курсивом: двигать пехоту огнем — и не только артиллерийским, но также и ее собственным, пехотным, — огнем, а не криком, не горлом.

В ВОЛОКОЛАМСКЕ У ПАНФИЛОВА

1

Опять идем лесом, режем, рубим, просекаем путь. Волоколамск недалеко. Явственна слышна канонада.

Вот и край леса. С опушки вдалеке видны колокольни. Несколько в стороне и поближе к нам краснеют кирпичные постройки станции Волоколамск. Она в нескольких километрах от города. В том направлении, у станции, гремит бой.

Внезапно там поднимаются в воздух приземистые железные башни — огромные вместилища бензина —

и, словно повисев мгновение, тяжело оседают, распадаясь на глазах. Взметывается пламя и дым. Затем доходит грохочущая волна взрыва. Станция еще наша. Но войска уже взрывают пути, склады и хранилища, чтобы не оставить врагу ни капли горючего, ни зерна продовольствия.

Я веду батальон к городу. Нас окликают посты. Это бойцы нашего полка. От них узнаю: штаб полка в городе, на северо-восточной окраине.

К городу шагаем по булыжной мостовой, затем пойдет асфальт, пойдет до самой Москвы — то Волоколамское шоссе, куда рвутся немцы.

За сотню шагов до первых домиков я остановил батальон на короткий привал, на перекурку.

А через десять минут взводными колоннами, со всеми орудиями, пулеметными двуколками, повозками, размещенными меж боевых подразделений, мы двинулись к городу. Я шагал впереди, передав Лысанку коноводу.

2

Помню тогдашнее впечатление от Волоколамска. Некоторые дома, главным образом в центре, были разбиты авиабомбами: авиация противника, очевидно, не раз налетала на город. Тяжелая бомба разрушила деревянный мучной склад. Один угол был вырван; в проломе торчали зазубренные концы разорванных бревен; крыша провалилась, ворота и рамы вылетели. Раскиданная взрывом мука сырой пленкой затянула скаты придорожной канавы, не тронутая здесь ногами и колесами. На мостовой под подошвами похрустывало стекло.

Муку с разбитого склада раздавали населению. Был заметен какой-то порядок, какие-то очереди, но муку уже не вешали. ее быстро отпускали, насыпая ведрами в подставленные мешки, в наволочки.

А мы шли строем по четыре, держа равнение, держа шаг, хмуро поглядывая по сторонам.

Казалось, на улице все куда-то спешили, все суетились, метались, казалось, никто из жителей не сохранил спокойной походки.

Вот по пути опять разрушенный бомбой небольшой деревянный дом, опять осевшие одним боком бревна со

свежими желтыми надломами, опять хрустящие стекла под ногами. У развалин на краю тротуара лежит мертвая старая женщина. Ветер пошевеливает сбившиеся седые волосы. Но клок прилеплен к черепу кровью, еше не запекшейся, еще красной. Небольшой лужицей кровь стынет на земле у головы. Чьи-то руки, очевидно, оттащили убитую в сторону, и теперь никого нет около трупа.

На каменном здании с пустыми черными провалами вместо привычных глазу стекол взрывной волной сбита вывеска; она повисла на одном крюке, и ее уже никто не поправляет, никто не забивает окон.

По улице проходит патруль; на перекрестке с винтовкой за плечами, с красной нарукавной повязкой стоит боец-регулировщик; став «смирно», он отдает нам честь. В городе блюдется военный порядок, но прежнего, привычного, устоявшегося гражданского порядка уже нет.

Жители торопливо проходят, пробегают туда и сюда, торопливо перекидываются фразами, некоторые зачем-то перетаскивают вещи; и все спешат, спешат.

Помню, мне почудилось: так, должно быть, ведут себя пассажиры разбитого бурей парохода, выброшенного на неведомые скалы. Душами владеет страх: вот-вот крепления переломятся, корабль уйдет в пучину.

Еще не взятый противником, не отданный нами, город был будто уже взят — взят страхом.

У ворот какого-то дома стоит подросток лет семнадцати. Я на миг встретил его взгляд. Он смотрел пристально, но исподлобья. Юношеское лицо очень серьезно, голова чуть наклонена вперед. В этой позе, во взгляде я прочел упрямство и упрек. Через сотню метров я, громко подсчитывая шаг, оглянулся на ряды батальона и опять заметил того же парня в тех же воротах. Он стоял и стоял, словно в стороне от суматохи.

Впоследствии, когда мы узнали о борьбе волоколамских партизан против захватчиков, о восьми повешенных в Волоколамске, я почему-то вспомнил этого юношу. Подумалось, этот был среди тех, кто боролся. В городе он был не один. Но тогда, в тот невеселый октябрьский день, нам бросилась в глаза только уличная суетня, переполох.

А мы шли и шли, хмуро поглядывая по сторонам.

На нас тоже смотрели. По улицам обреченного, казалось бы, города, куда добирался дым пожарища со станции, проходила воинская часть в строю, со строгими интервалами, с командирами во главе подразделений, с пушками, пулеметами, обозами. Батальонная колонна на марше — это, как вы знаете, почти километр.

Нет, мы не печатали шаг, не вышагивали, как на торжестве. Бойцы шли усталые, суровые, ведь впереди не празднество, не радость, а еще более тяжелые бои, но под взглядами жителей расправляли грудь, держали равнение, держали шаг.

И смотрели на нас не с восхищением, не любовались нами. Отступающими войсками не любуются, отступающая армия не вызывает преклонения. Женщины смотрели с жалостью, некоторые смахивали слезы. Многим, вероятно, казалось, что войска оставляют город. Тоскующие, испуганные глаза будто спрашивали: «Неужели же все кончено? Неужели погибло все, чему мы отдавали наш труд, нашу мечту?»

Тяжел, тяжел был этот марш по городу. Но в ответ на взгляды жителей, на суетню, на суматоху, мы гордо поднимали головы, демонстративно развертывали плечи, тверже, злее ставили ногу.

Каждым ударом ноги, будто единой у сотен, мы отвечали:

— Нет, это не катастрофа, это война.

Солдатской поступью мы отвечали на тоску, на жалость.

— Нет, мы не жалкие кучки, выбирающиеся из окружения, разбитые врагом. Мы организованные советские войска, познавшие свою силу в бою; мы били гитлеровцев, мы наводили на них жуть, мы шагали по их трупам; смотрите на нас, мы идем перед вами в строю, подняв головы, как гордая воинская часть — часть великой, грозной Красной Армии!

3

Батальон приближался к северо-восточной окраине, где расположился штаб полка.

На каком-то перекрестке, — кажется там, где стоял регулировщик, — мостовая сменилась асфальтовым покрытием; в этой точке начиналось Волоколамское

шоссе, прямиком по широкому гладкому асфальту ведущее к Москве.

В одном доме — мне запомнились его чистенькие голубые ставни — внезапно, будто от сильного толчка, настежь раскрылось окно. Оттуда порывисто высунулся комиссар полка Петр Логвиненко и радостно замахал нам рукой. А с крыльца уже бежал нам навстречу седоватый майор — начальник штаба полка Сорокин. Он стиснул мне руку; его немолодые, много повидавшие глаза вдруг заблестели. Логвиненко, уже очутившийся на улице, сгреб меня в объятия, оттащил в сторону, стал целовать.

А для меня это был момент недоумения. Почему нас так встречают? В пути я, наоборот, думал, что получу выговор за опоздание. И только тут я понял, как беспокоились, как волновались они, наши товарищи, за судьбу батальона, отрезанного немцами, давно не подававшего вести о себе. Втайне у них не раз пробегала, должно быть, черная мысль о нашей гибели, втайне нас уже поминали, быть может, скорбным прощальным словом.

Командир полка, майор Елин, сдержанный, замкнутый, молча стоял на крыльце, пропуская ряды. Я подошел к нему с рапортом. Выслушав, он кратко сказал:

— Хорошо. Потом приходите для подробного доклада. А пока располагайте батальон по квартирам. Можно отдыхать. Полк — в резерве командира дивизии.

В его ровном голосе при последних словах прорвалась гордость. Елин не сумел ее скрыть. Он — в прошлую мировую войну молодой офицер, а потом кадровый командир Красной Армии — гордился ею, армией, к которой имел честь принадлежать.

Понимаете ли вы, каков был тогда, после всего пережитого, смысл этой простой фразы: «Полк — в резерве командира дивизии»?

Она означала, что после прорыва немцев, после двух-трех критических дней и ночей дивизия вновь стоит перед врагом, построенная для оборонительного боя, с сильной резервной группой, расположенной чуть в глубине. Она, эта простая фраза, означала, что перед прорвавшимися гитлеровцами снова сомкнутый фронт, что Москва по-прежнему заслонена.

Батальон шел и шел. Грозно погромыхивая, двигались пушки.

Откуда-то появился адъютант Панфилова, молоденький краснощекий лейтенант. Он козырнул мне:

— Товарищ Момыш-Улы! К генералу!

— А где он?

— Пойдемте. В том домике. Генерал, знаете, посмотрел в окно: что такое, откуда такие войска?

И адъютант засмеялся.

Вызвав Рахимова, приказав размещать людей на отдых, я пошел за адъютантом.

4

Через проходную комнату, где расположились с аппаратами телефонисты, где дежурили штабные командиры, я вошел к Панфилову. Живым движением он поднялся из-за стола, на котором тоже находились телефоны и развернутая во весь стол топографическая карта.

Я вытянулся, хотел доложить, но Панфилов не дал. Быстро шагнув мне навстречу, он взял мою руку и крепко пожал — пожал не по-русски, а как это принято у моего народа, у казахов, обеими руками.

— Садитесь, товарищ Момыш-Улы, садитесь... Чаю хотите? Подкрепиться не откажетесь?

И, не ожидая ответа, раскрыв дверь, он кому-то сказал:

— Давайте обед, закуску, самовар... И все, что полагается.

Потом повернулся ко мне. Его улыбка, его маленькие глаза, прорезанные чуть вкось, чуть по-монгольски, были ласковы.

— Садитесь. Рассказывайте. Много людей потеряли?

Я сообщил потери.

— Раненых вывезли?

— Да, товарищ генерал.

— Распорядились ли накормить людей? Отдохнуть, обсушиться?

— Да, товарищ генерал.

Подойдя к телефону, Панфилов вызвал начальника штаба дивизии и приказал немедленно донести в штаб армии, Рокоссовскому, что в Волоколамск прибыл полноценный батальон, пробившись из тылов противника.

Выслушав по телефону, в свою очередь, какое-то сообщение, Панфилов склонился к карте и стал о чем-то расспрашивать. Я уловил:

— А с севера? Спокойно? Когда вы имели последнее донесение оттуда? А позже? Не верю я, знаете ли, этому спокойствию. Запросите еще раз, выясните... И пошлите, пожалуйста, ко мне капитана Гофмана со всеми донесениями.

Положив трубку, Панфилов некоторое время продолжал рассматривать карту. Лицо было серьезным, даже угрюмым. Несколько раз он хмыкнул. Машинально достав портсигар, он взял папиросу, пустым концом задумчиво постучал по столу, затем, спохватившись, взглянул на меня.

— Простите...

И быстро протянул раскрытый портсигар.

— Ну, товарищ Момыш-Улы, рассказывайте. Обо всем рассказывайте.

5

Я решил доложить возможно короче, чтобы не отвлекать, не задерживать генерала. Мне казалось, что сейчас, в нервной атмосфере боя, ему, естественно, не до меня, не до моего доклада.

— Двадцать третьего октября, вечером... — начал я.

— Эка, куда вы хватили! — прервал Панфилов. — Погодите с двадцать третьим октября... Расскажите сперва про бои на дорогах. Помните нашу спираль, пружину? Ну-те, как она действовала у вас?

Для меня после всего пережитого эти маленькие бои, эти незначительные по масштабу действия малых групп — взвода Донских и взвода Брудного — отодвинулись далеко-далеко. Странно, зачем Панфилов спрашивает об этом? Какое значение имеют теперь наши давние, первые стычки?

Панфилов улыбнулся, будто угадав, о чем я подумал.

— Мои войска, — сказал он, — это моя академия... Это относится и к вам, товарищ Момыш-Улы. Ваш батальон — ваша академия. Ну-те, чему вы научились?

От этих слов вдруг потеплело на сердце. Как я ни крепился, но картины города, которым владел страх, подействовали на меня, конечно, подавляюще. А Пан-

филов в этом городе, в комнате, куда явственно докатывался орудийный гром, с улыбкой спросил: «Ну-те, чему вы научились?» И сразу, с одного этого простого вопроса, мне передалась его немеркнущая спокойная уверенность.

Подавшись корпусом ко мне, Панфилов с живым неподдельным интересом ожидал ответа.

Чему же в самом деле я научился? А ну, была не была, выложу самое главное. Я сказал:

— Товарищ генерал, я понял, что современная война есть война психическая.

— Как вы сказали: психическая война?

— Да, товарищ генерал. Как бывает психическая атака, так тут вся война психическая...

— Психическая? — вновь с вопросительной интонацией протянул Панфилов.

По свойственной ему манере, он помолчал, подумал. Я с волнением ждал, что он скажет дальше, но в этот момент открылась дверь. Кто-то произнес:

— Разрешите войти?

— Да, да, входите.

С большой черной папкой быстро вошел начальник оперативного отдела штаба дивизии капитан Гофман.

— По вашему приказанию...

— Да, да... Садитесь.

Я поднялся, как повелевало приличие.

— Куда вы, товарищ Момыш-Улы? — сказал Панфилов, затем пошутил: — Хотите захлопнуть книгу на самом интересном месте? Так не полагается...

Мог ли он знать, что эти минуты, эти слова действительно войдут когда-нибудь в книгу?

— Насыщайтесь-ка пока...

Панфилов приветливо указал на столик, где уже некоторое время меня ожидал обед.

6

Я не считал удобным вслушиваться в негромкий разговор, но отдельные фразы долетали.

Панфилов, как я невольно уяснил, не доверял успокоительным донесениям с какого-то участка, доселе сравнительно тихого, удаленного от направления главного удара немцев и требовал доскональной, пристрастной, придирчивой проверки.

Затем я уловил:

— Вы меня поняли?

Таким вопросом наш генерал обычно заканчивал разговор. Множество раз мне довелось слышать, как Панфилов произносил эти три слова: они не были у него привычным повторением привязавшейся фразы; он не приговаривал, а действительно спрашивал, всегда вглядываясь в того, к кому обращался.

Капитан уже пошел было к выходу, но Панфилов вновь обратился к нему. Я услышал вопрос, которому в ту минуту не придал значения: его смысл раскрылся мне несколько позже.

Панфилов спросил:

— Представитель дальневосточников выехал сюда?

— Да, товарищ генерал. Скоро будет здесь.

— Хорошо. Направьте его, пожалуйста, сразу же ко мне.

Кивком он отпустил капитана, затем подошел ко мне, промолвил:

— Ешьте, ешьте, товарищ Момыш-Улы.

Встав, я поблагодарил.

— Садитесь, пожалуйста. Садитесь!

Старомодный пузатый самовар, тоже поданный к столу, тянул тонкую затихающую ноту. Панфилов налил мне и себе крепкого горячего чая, сел, втянул ноздрями пар, поднимающийся из стакана, чуть прищелкнул языком и улыбнулся.

— Ну-с, товарищ Момыш-Улы, — сказал он, — давайте-ка все по чину, по порядку. Как удалось то, что мы с вами наметили карандашиком на карте? Как действовали взводы на дорогах?

Я стал докладывать. Отпивая маленькими глотками чай, Панфилов внимательно слушал. Изредка он коротко вставлял замечания, пока, впрочем, не касаясь главного. Так, например, относительно Донских он спросил:

— Письмо домой, его родным, вы написали?

— Нет, товарищ генерал.

— Напрасно. Нехорошо, товарищ Момыш-Улы, не по-солдатски. И не по-человечески. Напишите, пожалуйста. И в комитет комсомола напишите.

Лейтенанта Брудного Панфилов приказал восстановить в прежней должности.

— Он заслужил это, — пояснил генерал. — И вообще, товарищ Момыш-Улы, без крайней нужды не следует перемещать людей. Солдат привыкает к своему командиру, как к своей винтовке. Но продолжайте, продолжайте...

Я рассказал про двадцать третье октября, про то, как батальон оказался в окружении.

Отодвинув стакан, Панфилов слушал, слегка склонившись ко мне, вглядываясь в меня, будто различая в моих словах что-то большее, чем сам я вкладывал в них.

Мой доклад прояснял для Панфилова некоторые детали битвы, которая длилась и сейчас, перейдя в следующий тур. Ему, быть может, лишь теперь стало полностью понятно, почему в какой-то момент, двое суток назад он, управляя напряженным боем, почувствовал, как вдруг ослабел нажим врага, вдруг вздохнулось легче. Тогда, в этот час, далеко от Волоколамска, далеко от своих, вступили в дело наши пушки, наш батальон, отрезанный у скрещения дорог. Колонны врага были рассечены, главная дорога преграждена, удар смягчен — немцам на некоторое время нечем было наращивать наступление, нечем подпирать.

Это казалось счастливой случайностью борьбы. Но сегодняшнюю случайность Панфилов завтра применял как обдуманный, осознанный, тактический прием. В этом мне довелось убедиться несколько дней спустя, когда в новой обстановке Панфилов ставил мне боевую задачу. Да, его войска были его академией.

7

Вновь переживая волнение боя, я описал, как залповым огнем мы проложили себе путь сквозь немецкую колонну, как прошли по трупам. Победой на лесной прогалине я втайне гордился: там, в этом коротком бою я впервые почувствовал, что овладеваю не только грамотой, но и искусством боя.

— Вы так рассказываете, — с улыбкой произнес он, — как будто залповый огонь — ваше изобретение. Мы, товарищ Момыш-Улы, так стреляли еще в царской армии. Стреляли по команде: «Рота, залпом, пли!...»

Немного подумав, он продолжал:

—Но это не в обиду вам, товарищ Момыш-Улы. Хорошо, очень хорошо, что вы этим увлекаетесь. И в будущем так действуйте. Учите людей этому.

Он замолчал, ласково глядя на меня, ожидая моих слов. Я сказал:

— У меня все, товарищ генерал.

Панфилов встал, прошелся.

— Психическая война... — выговорил он, будто раздумывая вслух. — Нет, это слово, товарищ Момыш-Улы, не объемлет, не охватывает нынешней войны. Наша война — шире. Но если вы имеете в виду такие вещи, как танкобоязнь, автоматчикобоязнь, окружениебоязнь и тому подобное (Панфилов употреблял именно эти странноватые словосочетания, которые тогда я впервые услышал), то вы, безусловно, правы.

Подойдя к столу, где лежала карта, он подозвал меня:

— Пожалуйте-ка сюда, товарищ Момыш-Улы.

Затем кратко ознакомил меня с обстановкой. Противник сдавливал Волоколамск с севера и с юга, проник на восток от Волоколамска в пространство между двумя шоссе, навис там над тылами дивизии, но еще не смог ни в одном пункте ступить на Волоколамское шоссе.

— И тут у меня жидко, и тут страшновато, — говорил Панфилов, показывая на карте. — А сижу здесь и штаб держу, товарищ Момыш-Улы, здесь. Надо бы немного отодвинуть штаб, но тогда, глядишь, и штабы полков чуть отодвинутся. А там и командир батальона стронется, подыщет для себя резиденцию поудобнее. И все будет законно, все по правилам, а... А в окоп поползет шепоток: «Штабы уходят». И, глядишь, солдат потерял спокойствие, стойкость.

И Панфилов опять улыбнулся своей обаятельной, умной улыбкой.

— Психическая война... — Панфилов хмыкнул, продолжая улыбаться: ему, видимо, все же пришлось по душе это выражение. — Да, можно было бы в этой полосе (Панфилов показал оставленную нами полосу впереди Волоколамска), можно было бы немца тут с месяц поманежить, но кое-кто поддался на его штучки, кое-где он взял нас на пустую. А все-таки уже почти две недели, если считать с пятнадцатого, мы его тут

водим. Вот и выходит, товарищ Момыш-Улы, что и побеждая можно оказаться побежденным.

— Как, товарищ генерал?

— А цена, — живо ответил Панфилов. — Цена, которую платят за победу.

Назвав приблизительную цифру потерь противника за все дни боев под Волоколамском (около пятнадцати тысяч убитыми и ранеными), Панфилов сказал, что хотя эта цифра сама по себе и не велика, но все же в высшей степени чувствительна для немецкой группировки, которая прорывается на Волоколамское шоссе.

— Но еще важнее теперь для нас время, — продолжал Панфилов.

Он прислушался к глуховатому грохоту пушек, повернул лицо в ту сторону. Потом, вновь взглянув на меня, вдруг подмигнул.

— Грома у них еще много, — произнес он, — но где же молниеносность? Где, товарищ Момыш-Улы? Ее отняла у Гитлера, ее сломала наша армия, и мы с вами в том числе. Мы, товарищ Момыш-Улы, выиграли и выигрываем время.

Помолчав, он повторил:

— И побеждая, можно оказаться побежденным... Вы меня поняли, товарищ Момыш-Улы?

— Да, товарищ генерал.

Разговор близился к концу. Панфилов задавал последние вопросы.

— Ну, а солдат? Что, по-вашему, вынес из боев солдат? Раскусил ли то, что вы назвали психической войной? Раскусил ли немца?

Я вдруг вспомнил Ползунова.

— Простите, товарищ генерал. Я забыл вам доложить о Ползунове.

Панфилов, припоминая, поднял брови.

— А... Ну-ну... — с любопытством проговорил он.

8

Дверь опять отворилась. Вошел адъютант.

— Товарищ генерал, к вам подполковник Витевский. Из штаба прибывшей стрелковой дивизии.

Панфилов быстро взглянул на часы.

— Хорошо, очень хорошо.

Потом непроизвольно поправил волосы, коснулся черных, подстриженных щеточкой, усов, чуть выпрямил сутуловатую спину. Ему, очевидно, предстояла очень серьезная встреча. Однако, взглянув на меня, он сказал адъютанту:

— Попросите, пожалуйста, немного подождать.

Он не хотел комкать разговора со мной, он, наш генерал, умел, не скупясь, уделять время командиру батальона.

— Ну-ну, Ползунов... — произнес он.

Я рассказал, каким был Ползунов, когда он вышел из леса в числе тех, кого я обозвал «беглякими», рассказал, каким видел его в последнем бою, как сторожко ясными, разумными глазами он озирал местность с противотанковой гранатой наготове.

— Привет ему! — сказал Панфилов. — Не забудьте передать. Каждый солдат, товарищ Момыш-Улы, хочет теплого слова за честную службу.

Еще не прощаясь, он протянул мне руку, и, задержав мою, опять пожал ее с теплотою, лаской, обеими руками — по-казахски.

— Я попрошу вас: сейчас же, товарищ Момыш-Улы, представляйте отличившихся к награде. Пожалуйста, чтобы сегодня же списки и характеристики были у меня... Ну, идите!.. Кажется, я смогу позволить вашему батальону передохнуть до завтра. Счастливо вам!..

Обгоняя меня, он быстро подошел к двери, раскрыл ее.

— Товарищ подполковник, прошу вас.

В фуражке с красным, нефронтовым, околышем вошел подполковник.

Я хотел пройти в дверь, но Панфилов тронул меня за рукав. Показав глазами на вошедшего, он потянулся к моему уху и шепнул:

— Это, товарищ Момыш-Улы, подкрепления. Дальневосточники. Мчались двенадцать дней. Успели. Вот вам, товарищ Момыш-Улы, смысл оборонительного сражения под Волоколамском.

Влагой волнения, влагой счастья заискрились на миг его глаза.

Закрывая за собой дверь, я еще раз увидел генерала. Карманные часы с отстегнутым ремешком Панфи-

лов положил на стол. Маленький, сутуловатый, с загорелой морщинистой шеей, он стоял уже спиной к дверям и приветливым жестом указывал подполковнику стул. А другой рукой — вернее, одним лишь большим пальцем — он машинально поглаживал выпуклое стеклышко часов.

На улице падал крупный дождь. Небо было нависшим, темным. У станции гремели пушки. Стоял слабый запах гари. Все вокруг было затянуто струящейся мглистой пеленой.



Цена 5 р. 30 к.

КРАСНОЯРСКОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО